



АНАТОЛИЙ
ИВАНОВ

*Повесть
о несбывшейся любви*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Анатолий Степанович Иванов

Повесть о несбывшейся любви

Серия «Азбука-классика»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70223875

*Повесть о несбывшейся любви: Азбука, Азбука-Антикис; Санкт-Петербург; 2024
ISBN 978-5-389-24856-4*

Аннотация

Анатолий Степанович Иванов – один из крупнейших советских писателей, автор масштабных эпических произведений «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», экранизированных и до сих пор популярных у читателей. В 1970–1980-е годы Анатолий Иванов обратился к жанру повести, в которой раскрылись новые грани его творческого дарования: его проза все так же динамична и строится на острых драматических ситуациях, но при этом в ней усиливается лирическое начало. В настоящее издание вошли повести «Жизнь на грешной земле», «Вражда», «Печаль полей» и «Повесть о несбывшейся любви». В каждой из них разворачивается серьезное исследование человеческих качеств, проявляющихся в тех или иных обстоятельствах, – будь то доверчивость или прагматизм, способность к самопожертвованию или желание мести. Мощные характеры, точность психологических и бытовых деталей, увлекательный сюжет – все это позволяет по праву

отнести повести Анатолия Иванова к лучшим образцам отечественной прозы XX века.

Содержание

Жизнь на грешной земле	6
1	6
2	16
3	24
4	27
5	42
6	47
7	54
8	68
9	75
10	88
11	91
12	93
13	102
14	106
15	110
16	114
Вражда	116
Конец ознакомительного фрагмента.	150

Анатолий Иванов

Повесть о несбывшейся любви

© А. С. Иванов (наследники), 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Жизнь на грешной земле

Михаилу Александровичу Шолохову

1

Днем, едва холодное солнце покатилося вниз, на зареченских лугах и дальше, на убранных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами, низинками. К вечеру гнезда их густели, наливались холодом, разбухали все больше. И наконец беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой, обессиленной за знойное лето Оби, неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя залить ее, раздавить своей невесомой тяжестью.

– Врешь, брат Татьян, – сказал Павел Демидов, по обыкновению сидя у стены своей мазанки и глядя через реку на тускнеющие зареченские дали.

– Об чем ты это, пап? – спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гринька, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель. – Кто врёт?

– Туман-то! – кивнул Демидов в сторону Оби. – Ишь шельма.

Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал.

– А как он врет?

– Ну – грозит. Не чувствуешь?

Они еще помолчали. Гринька – маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке, купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов – сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный – остро торчали выставленные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки остро выдавались плечи. Лет ему было уже за шестьдесят, он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он, хоть и редко, брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня.

– Чую, – сказал Гринька. – Чем гуще туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь.

– Это так. А еще что чувствуешь?

– Боле ничего.

– А ты замри. Замри и слушай. Ну, чего слышишь?

Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения.

– Ничего. Пес какой-то лает.

– Балда. Сучка это лает. Бригадира Митрофана. Еще?

– Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пищат.

– Колхозного конюха Артамона дочка это повизгивает,

Клавка-то.

– Их там много хохочет, девок-то, – уточнил Гринька.

– И Клавка там. Там она. А сейчас гармоня Леньки-тракториста запиликает. Дурак он, Ленька, гармонь у него до-рогая, вся блестит, как в изморози, а играть не умеет. Так, будто лесину сырую пилит... Так-то он парень ничего, и чуб ладный.

Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки.

– Ну вот. А он – грозит, – опять кивнул за реку, в сторону надвигающегося тумана, Демидов.

– А что ему грозить? – все так же непонимающе спросил Гринька. – И кому? И как это он может грозить?

– Балбес! – глаза Демидова сердито блеснули. – Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике в крынке молоко... А я посижу тут еще.

– Пап, ты только в магазин к Марьке Макшеевой не ходи, – попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже два года работающая в Маршанихе на лесоустроительной станции. И так же, как сестра, прибавил: – Не пей ты, пап, эту проклятую водку.

– Сгинь, чтоб ты! – прикрикнул Демидов. – Сказано – тут посижу. Никуда не пойду.

Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец, как всегда, беспременно пойдет в магазин, едва мигнет «волчье око» (так называл сам отец, а за ним и вся деревня, све-

тящееся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшевой, через которое она продавала водку «без сдачи», что у нее означало – четыре рубля бутылка). Пьяный отец был добрый, пожалуй, добрее, чем трезвый, часто приносил ему купленное через то же оконце то дешевеньких конфет или пряников, то бутылку лимонада. И пока не проходил хмель, все крутился по комнатушке, оправдываясь, что выпил вот, убеждал его, Гриньку, никогда не пить, часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Гринька, встряхивал головой и, так же шагая из угла в угол, мурлыкал без конца одно и то же, странное, непонятное:

А кто ж я такой? Просто так – имярек.

Я, братцы-р-ребятцы, чудной человек...

Уж нет-нет да уgomонится он, уляжется.

И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьян. Трезвого он любил его больше.

Прибирая со стола, Гринька думал: он, отец, чудной у него, эту правду он про себя поет. Три года назад он взял его из маршанихинского детдома со странным условием:

– Тебя Вовкой кличут? Отныне я тебя Гринькой звать буду.

– Я не хочу, – сказал Гринька, бывший тогда еще Вовкой.

– Это уж обязательно. Иначе, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец вроде ничего, с гвоз-

дем парень. Другого выберу.

И, помолчав, выкурив в молчании длинную самокрутку, старательно затоптав окурок в землю (они разговаривали в детдомовском саду), начал длинную, наполовину непонятную речь:

— Сам я, сынок, лесник, деревья, значит, сторожу, за лесом ухаживаю, зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит... А лес какой у меня! Ого-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу — деревья шумят, шумят... Ты думаешь, они просто от ветра шумят? Не-ет, сынок. Они это со мной разговаривают: какая, значит, радость у них или какая беда... Или, скажем, кто прошел, проехал мимо — такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший. Ну, понятно, хороший — так и иди себе. А коли плохой — нет, брат, шутишь, погоди-ка! Вот так — обо всем докладывают. Деревья, они, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лесина спиленная — дерево, бревно, словом... А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемная. Я ведь бобылем все жил, жены у меня никогда не было. А почему? Это, сынок, такой вопрос, под старость только и сумеешь разобраться, может. А может, по глупости. Ну да ладно... Вот и надумал я — присмотрю-ка с детдому я себе дочку. После войны мно-ого их было, детдомовцев, да... Больше, чем теперь. Ну и присмотрел... Понравилась одна, сопливая такая. Конопатая, как ты. Люблю отчего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Анька-встанька, муженька достань-ка...

Вот глупые слова, а отчего-то ударили мне в голову, когда с ней, как с тобой вот, беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты Надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я ей сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы она себе муженька, и рано ли, поздно ли, не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь?

И Гринька припомнил, что он вдруг воскликнул тогда:

– Почто же – нет! Ты правильно... Раз ты ее берешь в дети, так и она должна!

– Вот-вот, угадал я – с гвоздем ты! Да только, брат, должна-то должна, а человек-то по-человечьи и жить обязан. По весне зацвести радостью, как поле росными цветами, все лето – рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один – чудной человек... Да-а, хорошая она у меня, Надежда, дочка добрая выросла. Да только в Моршаниху вот теперь часто бегаёт – то в кино, то на танцы. А там, у лесовода одного, парень – Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет, да, считай... Чуешь, словом, чем пахнет?

– Девки – они такие! – опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки. – А я тебя никогда не брошу.

– Ага! Согласный, значит?

– Что ж тут хорошего, в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай и останусь.

– Ну, это невозможно. Никак, сынок, невозможно.

– Да почему?

Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку.

– Надька-то замуж выйдет, уйдет к мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому... Девка выросла, говорю, что надо – красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька, – ишь какое хорошее имя-то, сынок! – глаза у ней светлые, лучистые, блеснут – зажмуришься. Да что ж, – вздохнул он, – я свое исполнил, вырастил ее. Пушай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один? Ан нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня – гринь-гринь-гринь... Что это – оконные стекла от ветра, может, звенят? Нет, это сына так моего зовут. Иду я по лесу, а кругом – гринь-гринь-гринь... Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они... Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты оставался.

...Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил черной бумагой. Отца все не было.

Вздыхнув, мальчишка разобрал свою постель, шелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем, но чем-то понравил-

ся ему этот пожилой человек, а несколько раз сказанное им непривычное слово «сын» выжимало слезинки.

– А зайцев... их тоже ты оберегаешь? – спросил он тогда, опуская стриженую голову, чтобы спрятать глаза.

– Зайчишек-то? А как же. Самый незащищенный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает, как воробьев вокруг весенней лужи.

– Ладно, я согласный.

Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения, его долго не отдавали в сыновья этому человеку.

– Возраст, – говорил директор детдома, – у вас преклонный, товарищ Демидов.

– Что возраст? Я крепкий, на лесном духу настоящий, еще двадцать лет, как заяц, проскакаю! – доказывал его приемный отец тогда. – А коли что – дочка Надежда его довырастит. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха.

И он привел ее. Она, высокая, решительная, и вправду с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопывая разрешение, в различные районные организации. И выхлопотала.

В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего два года. Что и говорить – там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью – боялись, видимо, собачьего духа, зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они

с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину.

Надежда была озорница, беспрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес звонким своим голосом, глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они, по обыкновению, притухали. Сперва Гринька не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться – беспокоится Надежда об отце.

И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался и, если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню.

Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему:

– Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну отучись. Ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо.

– Поставим, Надежда, поставим... Я пью, да разум не теряю.

– Как же! Прошлой зимой не замерз чуть. Кабы я не отыскала тебя в сугробе...

– Это было, доченька... Дурак я. Растревожил меня тогда Денис Макшеев, Марькин муж, сдохнуть бы ему! Да это раз только и было. А так – в контроле я завсегда.

– Да отчего ты пьешь ее, проклятую?

– Так, приучился... Жизнюха-вилюха, не жил бы, да надо.

– В который раз ты про этого Дениса Макшеева... Что у

тебя с ним произошло? Что не поделили?

И тут Гринька почувствовал, как отец посуровел, рассердился, чего с ним никогда не бывало:

– Замолчь! Чего пытаешь? Ум покуда короток, а туда же...

Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться:

– Доченька... Дурак я, знаю... Я подберу себя. Брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду... Гриньке в школу как раз. Да, переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь. И брошу. Какая в ней радость?

И вот уж больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина, отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил...

Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, выюгу – Акулиной, а пасмурный день – Митрофаном. «Туман – Татьян – понятно, похоже вроде. Дождь – Дементий – тоже на одну букву. А почему выюга – Акулина? Или крепкий мороз – Филарет? Ага, кажись, идет...»

Проснуться Гринька уже не мог. Откуда-то из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое:

А кто ж я такой? Просто так – имярек...

Уже несколько дней шел то дождь, то снег, землю расхлябило, люди с трудом выдергивали ноги из клейкой дорожной грязи. Небо было серым, низким и промозглым, мир сузился, перемокшие дома, казалось, съежились и потихоньку оседали вниз, в разжиженную землю. И еще казалось: небо над деревней никогда не распахнется больше, сроду не появится на нем солнце.

Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером.

Павел Демидов с толстой палкой в руке вышел за калитку, когда сплошная чернильная темнота залила всю улицу. Кое-где светились окна, бросая желтоватые пятна на дорожную грязь, отчего грязь эта жирно лоснилась. Перед домом напротив росли густые деревья, свет из окон этого дома не доставал до улицы, запутывался где-то в голых ветках.

В конце улицы, как всегда, горело «волчье око». Демидов помедлил, вздохнул и пошел на его красноватый огонек.

Оконце, через форточку которого Мария Макшеева принимала от ночных покупателей деньги и подавала бутылки, было задернуто занавеской. Демидов постучал в стекло. За красноватой тряпкой качнулась тень, занавеска поползла в сторону, и Павел увидел за стеклом не Марию Макшееву, а усатое, жирное, ненавистное лицо ее мужа, Дениса.

– Сколько? – равнодушно спросил Денис, открыв форточку, не узнавая пока Демидова.

– Одной досыта будет... с твоих-то рук.

Денисовы рыжие брови чуть переломились, он поближе припрыгнул к стеклу, будто хотел проверить, не ослышался ли, тот ли за окном человек, которому принадлежит голос?

– Давай деньги.

Когда он говорил – тускло поблескивали от электрического света два его вставных металлических зуба.

Протянув с пятерки полную сдачу – Демидов был, наверное, единственным, кому Макшеевы продавали водку по ее настоящей цене, – Денис хотел захлопнуть форточку, но Демидов сунул в створку грязный конец палки.

– Чего, чего еще?

– Не отравленная? Ты ведь грозил когда-то...

– Жри без опаски. Не сдохнешь.

– Марька-то где сама?

– Проваливай! Будет тут пьянчужка всякий... Убери, говорю, палку!

– Жена где, спрашиваю, твоя?

– А на свидание к тебе побегла. А ты тут вот... – В голосе Макшеева была едкая насмешка. – Мне что, за участковым сбегать?

– Это уж сама Марька сделает, когда я, Денисий, придавлю тебя где-нибудь, как таракана сапогом.

Усы у Макшеева от бешенства задергались. Но бешенство

его было бессильное, он сам это чувствовал. И ничего не говорил, только багровел все больше и больше.

– Придавлю и разотру, чтоб и праха от тебя на земле не осталось.

По-прежнему молчал Денис, стоял, уронив, как плети, обе руки. Лицо его теперь стало бледнеть, словно какой-то насос начал откачивать с лица всю кровь. А Демидов, понимая состояние Макшеева, безжалостно продолжал:

– Да только что мне участковый? Я жизнь свою использовал, так и так помирать скоро. Но сперва я тебя на тот свет спроважу. Да ты и сам, должно, чувствуешь, что твоя голова все ниже и ниже к плахе клонится. Чувешь али нет?

Макшеев лишь усмехнулся.

– Врешь, чувствуешь. Все живое это чувствует. Даже курица, когда ее ловят в курятнике, чтобы лапшу сварить.

– Не пугай. Пуганный я тобой.

– И правильно – бойся, – как бы не слыша его слов, продолжал Демидов, раскрывая форточку чуть пошире. – Я это давно бы сделал, да поджидал, покуда дети ваши подрастут. Малых не решился сиротить. А теперь что ж – обои твои дети обженились в городе, слыхал, на собственные ноги встали... А там пусть приходит за мной хоть сотня участковых. Тюрьма мне больше без надобности, на старости-то. Так что живым они меня не найдут. Гриньку Надежда к себе возьмет.

Демидов вынул палку из форточки, наклонился поближе к концу и сказал Макшееву, как говорят что-нибудь хоро-

шее ближнему другу:

– Конечно, не шибко удачливо ты, Денисий, судьбой своей распорядился.

Макшеев рывком захлопнул форточку, задернул занавеску. Но по тени Демидов видел, что он не отошел от окошка, стоял недвижимо на прежнем месте. Усмехнувшись, Павел покачал на ладони холодную тяжелую бутылку и вдруг, размахнувшись, швырнул ее в бревенчатую стену дома. Бутылка раскололась звонко, но осколки просыпались почему-то беззвучно. Тень за занавеской вздрогнула, будто бутылка попала не в стену, а в самого Дениса, и окошко потухло.

Когда Павел Демидов шел к дому Макшеева, сеял редкий, унылый дождичек, небо, видно, иссякало, выщеживало из себя последки. И вот теперь действительно сверху уже не капало, дул только влажный и тяжелый ветер, бессильный высушить крыши, голые мокрые ветки деревьев, суконную ту-журку Демидова.

Павел шагал не к своей мазанке, а так, куда-то, по какому-то переулку, неизвестно зачем. Полчаса назад ему действительно сильно хотелось выпить, сейчас ничего не хотелось.

Многолетняя жизнь в лесу обострила его слух, приспособила его глаза хорошо видеть в темноте. И сейчас он услышал – кто-то хлопает по грязи навстречу ему. А подняв голову, сразу различил, что это Мария Макшеева.

Мария, может, не узнала его, а может, не захотела узнавать

– прошла было мимо. Он окликнул ее именем, каким звал в юности, каким звал иногда и теперь:

– Марька...

Она оглянулась, затем пошла еще быстрее, но, сделав несколько шагов, остановилась:

– Ну – что, что?

– Да так я... – произнес Демидов, подходя. – Что мне с тобой?

– Гляди-ка, трезвый. – Глаза Марии во мраке чуть поблескивали, и Павел знал, что она смотрит на него, как всегда, холодно и враждебно. – Когда ты от водки этой сгоришь только!

– Вот как Денисия твоего прижужу где-нибудь.

– Зверь ты, зверь! Чем он тебе дорогу перешел? Что ты над ним висишь всю жизнь, как... Чем он-то виноват перед тобой? Это я пускай виновата, коли выбрала его, а не тебя. И хорошо, что не тебя! Ты ведь пьянчужка, бирюк лесной. Хватила бы я с тобой горяшка!.. – И Мария заплакала.

– Врешь ты, – сказал ей Демидов с тихим вздохом. – Все врешь.

– Я тебя по-всякому просила – оставь ты нас в покое. У меня семья, дети, я... Что ж я с собой могла поделать тогда... коли не тебя, а его полюбила.

– Врешь, – повторил Денис. – За меня б вышла, коли б не посадили меня перед войной.

– Никогда! – воскликнула женщина.

– Ветру у тебя в голове много было, это верно, – как-то грустновато произнес Демидов. – Ладно, может, и не за меня. А от Денисия-то ушла даже бы и сейчас, будь твоя воля. Да нету. Запутал он тебя в грязных магазинных делах, завязил сперва в них, как муху в паутине... А теперь тюрьмой пугает. Вон полушалонок на тебе и тот ворованный.

– Не трожь ты! – Мария отступила, ударила его по протянутой руке, будто боялась, что он сорвет с ее головы полушалонок.

– Водку и ту заставил продавать ночами. С меня только и берете настоящую цену. Куда он деньги-то складывает?

– Как я ненавижу тебя, паразита! – прохрипела Мария, отступая, будто изготавливаясь к прыжку.

– И это неправда, – произнес он с каким-то укором.

Мария зарыдала тяжело, уткнула лицо в концы полушалка. Он терпеливо ждал, пока она выплачется.

– Нет, это правда, – сказала она, вытирая глаза. – Я тебя возненавидела по правде с того дня, когда ты меня там... в лесу в кровь исхлестал ружейным ремнем. И до смерти за это ненавидеть буду.

– Не ошибись, гляди, глупая ты баба, – произнес Демидов.

– Ишь ты, как себя ставишь! Поглядите-ка на него! Еще противней ты мне после таких слов!

И она быстро пошла прочь, разбрызгивая резиновыми сапогами грязь. Павел стоял, опершись на палку, глядел ей вслед, будто ожидая, что она вернется.

И она вернулась. Она остановилась сперва, потом резко повернулась, торопливо подбежала к Демидову:

– Вот глупая я... ты произнес. А?

– Я это сказал.

– А почему?

– А ни бабы, ни человека из тебя не выросло. А могло бы и случиться.

В соседнем доме загорелось окно, свет из него упал прямо на Павла, а Мария осталась отрезанная в темноте. Но Демидов увидел ее запрокинутое к нему лицо, действительно холодное и враждебное.

И все равно она была красивая, Мария. Она была на четырнадцать лет моложе Павла, ей подбиралось под пятьдесят, но время словно не трогало ее. Все такие же гладкие щеки с румянцем («И это не ветер нахлестал», – отметил Демидов), свежие еще губы, которыми она когда-то целовала его жарко и ненасытно, такие же густые, без единой сединки волосы. Лишь вокруг глаз стали пробиваться морщинки, да и то едва-едва.

– Оставь ты нас с Денисом в покое, Пашенька! – умоляюще заговорила вдруг она. – Мы старики уж, жизнь сызнава не начнешь... Уедь куда-нибудь, али мы с Денисом уедем, а ты за нами не тащись следом, дай нам пожить спокойно под старость хоть, не преследуй боле. Ты ригу колхозную поджег, в тюрьму угодил – и пошла твоя жизнь наперемол. А Денис при чем?

– Ты?! – вскрикнул он и тяжело задышал. – Денис, значит, ни при чем? Он ни при чем? Н-ну, отвечай?!

Он схватил ее за плечи и сильно затряс.

– Господи, в уме ли ты?! Я закричу, Павел!

Он застонал, отшвырнул ее от себя чуть не в грязь и быстро пошел, почти побежал...

Тяжелые черные волны хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимания, что весла опасно потрескивают. В непроглядной черноте крохотного речного островка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильно, что нос лодки сейчас заскрежетает по галькам.

Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одну за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших на островке, хлопает у ног осенняя обская вода.

Напротив островка вдоль берега была рассыпана деревня Дубровино, сейчас она угадывалась по редковатым огонькам. Среди этих огоньков Демидов безошибочно отыскал вновь горевшее «волчье око».

«Ты ригу колхозную поджег... А Денис при чем?» Эти слова звучали в ушах Демидова, пока он греб к островку, звучали и сейчас.

«При чем? – тяжело усмехнулся он. – Это можно бы тебе еще раз объяснить. Только что объяснять – и без того все знаешь ведь...»

Потом Павел стал размышлять, что его вот, Демидова, многие называют чудным человеком. А ежели подумать – вся жизнь чудная. Земля вот большая, много на ней места.

А бывает так, что двоим на ней тесно. Не разойтись им никак. Да-а, люди-человеки... Много на земле всяких разных живых тварей, а красивше человека нету, с разумом потому что, с сознанием. А раз так – живи и не мешай другому, вон сколько на земле благодати, найдешь свою, зачем другому дорогу переступать? Так нет же... И опять же, ежели с другой стороны взять... Ну ладно, сделал тебе зло кто-то. Не от большого ума, конечно. Пойми и прости, какое бы тяжкое оно, зло, ни было. Ты ж человек все же. А вот он, Павел Демидов, простить не может. Он и простил бы, он и пить бы бросил – все сделал бы Павел Демидов, пойми люди, что он ни в чем не виноват перед собой, перед жизнью, перед людьми. А не поймут, не поверят... Но это опять же с одной стороны. А с другой – понимать и прощать некому. Здесь, в Дубровине, его жизни никто не знает, кроме Дениса да Марии. Лесник и лесник, пьяница только, мол, да с Макшеевыми почему-то не ладит. Теперь, значит, на пенсии... Знали там, на Енисее, в Красноярском крае. Да и там, в деревне Колмогорово, люди тоже попеременялись – кто уехал, кто приехал, а многие и померли, ведь больше трех десятков лет прошло с тех пор, как... Кто теперь помнит там о нем, Павле Демидове? Кому и зачем кричать: люди, я не виноват! Вот, допустим, можно бы крикнуть было этак на весь мир. И что же? Люди бы и впали в неодумь – полоумный, что ли, орет? И – оно действительно... Так, значит, что ж, по таким-то рассуждениям вроде и простить ему, Денису Макшееву, мож-

но? А я не прощаю, ношу эту обиду в себе, как курица яйцо, и снести не могу. Отравляю ему и себе жизнь...

Так думал Павел Демидов, чувствуя одновременно, что он какой-то не такой уже, каким был даже вчера, что в нем происходит что-то непонятное, подбирается к его сердцу какая-то доброта, ненужная ему и вообще предательская. Гринька, когда вырастет, не одобрит, должно быть, такой доброты...

Огоньки на берегу становились все реже, гасли один за другим. А «волчье око» все продолжало гореть, прокалывало темень неприятно-красным светом. Демидов глядел на него, и в груди, под черепом – везде вскипала у него кровь будто: «Не прощу, нет... Не могу!»

Он закрыл глаза, откинулся назад, ударился затылком о земляной обрывчик. Он очень плотно, до ломоты в веках, зажмурил глаза, а все равно видел «волчье око»: оно горело и горело...

Начало жизни Демидова складывалось не хорошо и не плохо. Он родился и вырос на берегу Енисея, реки малорыбной, зато неописуемо красивой. Отец погиб в партизанах – он был в отряде легендарного Каландарашвили. Мать, тихонькая, маленькая, робкая – она все почему-то держала заскорузлые от работы руки под фартуком, точно стеснялась показывать их людям, – как и другие, вступила в Колмогоровский колхоз. И Демидов работал в колхозе, потом служил действительную, вернулся с нее в начале тридцатых годов.

– Теперь жениться бы те, Пашенька, – говорила мать несколько раз. – Я уж слаба стала.

С женитьбой как-то не получалось. А потом стал ждать, когда подрастет Мария.

Мария росла хохотушкой – этим и привлекла сперва его внимание. В четырнадцать лет она была уже стройной, грудастой, туготелой. В шестнадцать хорошо научилась целоваться, он, Павел, ее научил. Целовал ее, но и в мыслях никогда не было, чтоб тронуть, понимал – рано и ни к чему до свадьбы.

– А когда же свадьба-то? – спрашивала она частенько.

– Скоро. Подрасти еще. Порода чтоб крепше от нас пошла.

Когда Марии исполнилось семнадцать, в Колмогоровском

сельсовете появился новый работник – Денис Макшеев. Он был примерно одногодок Павла, тоже отслужил давно действительную, ходил по деревне в полувоенном френче, синих галифе и хромовых сапогах. И еще – от него всегда пахло одеколоном. По тем годам это было невидалью в деревне – девок осуждали, если чем помажутся, а мужику-то и вовсе позор.

Откуда Макшеев родом – было неизвестно. Деревенские бабенки глухо поговаривали, что вроде из самого города Красноярска, где родитель его держал будто бы когда-то не то мучной лабаз, не то булочную. Но бабье есть бабье, к их сплетням никто всерьез не относился. Да и не было ни для кого нужды устанавливать родословную приезжего. Те, которые поставили его выписывать разные справки в сельсовете, знали, наверное, кого ставят, им, значит, было виднее.

Однажды Павел застал на берегу Енисея Марию и Дениса. Денис что-то рассказывал, картинно красовался, поставив одну ногу, обтянутую плотно синей штаниной, на крупный камень. Мария заливалась смехом, сидя на носу лодки.

– Занятный он, – сказала она, когда Павел увел ее с берега.

Это было где-то в мае тридцать восьмого. По осени Демидов намеревался сыграть свадьбу, мать тихонько собирала к этому дню все необходимое.

– Хороша бабенка, да не планида ей горизонт увидеть, – сказал как-то Денис Павлу, встретив его среди деревни.

– Как понять? – насторожился Павел.

– Ей муж-то надобен с кругозором. А в тебе какой интеллигент? Ты ведь, дядя, цветок нюхаешь, а запаху не чуешь.

Демидов высоко себя не ставил, но и низко не опускал. И потом, он был не какой-то робкий недоносок – и тут же схватил Макшеева за отвороты френча:

– Ты! Приподниму и опущу об землю. Только шмякнешь!

– Убери крючки, ну! – побагровел Денис, схватил Павловы руки за запястья, оторвал от френча. Он, Денис, тоже силенку имел. – Обломлю – и в Енисей кину. Я, дядя, решительный. В кавалерии служил и лозу лихо рубил.

Они разошлись, красные, взъерошенные, оба чувствуя, что еще сойдутся.

– Зачем ты ему о свадьбе сказала? – спросил в тот же вечер Павел у Марии.

– А занятый он, – ответила она, как и в первый раз. – Да что он нам, ты не думай...

Но Демидов думал, потому что нет-нет да и заставлял где-нибудь Марию в компании Макшеева. Она с хохотками уверяла, будто встретилась с ним случайно и только что.

А однажды произнесла с обидой за Макшеева:

– Ты его не любишь, я вижу. А в нем интеллигенту-то побольше, чем во всех деревенских парнях.

– Во-он как! Так ты что ж, за него и выходи.

И тут Мария зарыдала, прижалась к нему:

– Пашенька! Я тебя, тебя люблю... А когда с ним – вроде бы не тебя, а его... Убереги меня от него! Я не знаю как –

только убереги. Иначе – быть греху...

– Ладно, – угрожающе произнес Демидов и пошагал в сельсовет.

В сельсовете они поговорили с Макшеевым тихо и мирно, как добрые товарищи. Из сельсовета вышли и пошагали рядом, плечо в плечо, по улице, за деревню. Макшеев шел, грыз семечки и равнодушно плевался шелухой.

За Колмогоровом сразу начиналась тайга, они отыскивали глухую поляну, Макшеев снял френч, а Демидов – пиджак и верхнюю рубаху. Каждый аккуратно свернул свою одежду и положил на траву.

Дрались они долго, молчаливо, в кровь, все больше наливаясь свирепой угрюмостью, изорвав друг на друге нательные рубахи. Договорились – пока один из них не упадет без сознания. Лежачего, как известно, не добивают, но зато уж устоявшему на ногах достается Мария.

Устояли оба, только до дна выдохлись. У Демидова текла кровь даже из ушей, Макшеев выплюнул два передних зуба.

– Будет, – прохрипел Денис, обтирая клочьями рубахи кровь с лица.

– Признаешь, что слабожильнее? – тоже с хрипом спросил Павел.

– Ни в жисть.

– Тогда погодь одеваться, лабазник! До окончечности давай, как договорено.

Демидов качнулся было к Макшееву, но тот поднял с зем-

ли увесистый еловый сук.

– Ты что?! Договорились – на кулаках только.

– Подходи... Я покажу, как договорились!

На всякий случай Демидов пошарил под деревом, тоже нащупал крепкую палку.

– Скажу те так, хамло навозное, – тяжело дыша, проговорил Макшеев. – Лабазник я али еще кто там, а Марии не видать тебе все одно. Отказывайся лучше добровольно. Иначе – икать всю жизнь будешь. Это я тя заставлю, найду способ. Я, дядя, решительный.

– Жди, как же. Сиди дома и гляди в окошко – не идет ли Пашка Демидов, не ведет ли тебе Марьку за руку: вот, мол, возьми.

– Ну – я сказал, а ты слышал. И значит – судьбу свою добровольно выбрал...

...Не знал тогда Павел, что за человек Макшеев, предположить и близко не мог, что за судьбу он ему уготовил.

Отпыхало лето, блекнуть стало небо, и вскоре густо посыпался древесный лист. Как-то допоздна засиделся Демидов у родителей Марии, обговаривая круг гостей, которых через неделю предстояло звать на свадьбу. Под конец попробовали самогонки, которую Марькина мать накурила для свадьбы. Кувшинчик принесла сама Марька, бледная как-то, с опущенными глазами. Когда разливала по стаканам, пальцы ее подрагивали.

Прощаясь с Павлом, подняла все же свои густые ресницы.

Зрачки ее сильно расплылись, были огромными, в широко распахнутых теперь глазах стоял ужас, какой-то немой крик.

– Ты что, Марька? – спросил Демидов.

– Пашенька... Давит отчего-то все у меня внутри... – Она припала к нему. Павел слышал, как бешено молотит в ее груди сердце.

– Устала, видно. Ты ляг пойд...

– Я лягу, лягу... Еще, может, стаканчик выпьешь?

– Что ж, давай.

Когда Марька наливала этот стакан, дрожали у нее не только руки, но и спина.

– Пей... на здоровье.

Голос у нее был теперь чужой, незнакомый, и в глазах не стояло уже ни ужаса, ни беззвучного крика. Они были, ее глаза, бессмысленными, пустыми, до дна выгоревшими. Как ни пьян был Демидов, он все это заметил, еще раз спросил:

– Да что, в самом деле, такое с тобой?

– Ой, Пашка! Женское сердце вещун, говорят... – выдохнула она, вжалась в стену. – А у меня такое чувство, будто последний раз видимся...

Последний не последний, но долго потом не пришлось им увидеть друг друга. Добрый десяток лет с гаком.

Самогонка оказалась зверь зверем, в голове у Демидова шумело, августовские звезды пошатывались на небе.

Когда он шагал мимо колхозной риги, из-за хлебной скирды вышел Денис Макшеев.

– Ну вот... Долго я ждал такого случая.

– Отойди, я пьяный, – попросил Демидов.

– Это нам и сподручно, дядя, – проговорил, шепелявя, Макшеев и чем-то твердым ударил Павла по голове. Демидов качнулся и рухнул наземь.

Потом Макшеев безжалостно пинал его сапогами в голову, в грудь, в лицо. Павел только глухо и беспомощно стонал, пока не потерял сознание. Потерял он, видимо, его ненадолго, потому что, когда открыл глаза, Макшеев был тут же. Он будто по нужде сидел на корточках у хлебной скирды. И вдруг Демидов увидел – из-под руки Макшеева змейкой пополз огонек, начал лизать, разрастаясь, угол хлебного зарода. Даже в темноте было видно, как за клубился черный тяжелый дым.

– Ты! Ты чего делаешь?! – будто задыхаясь от этого дыма, прокричал Павел, попробовал приподняться на локтях. – Ты чего сделал?!

– А это не я... Это ты, дядя, сделал, – проговорил Макшеев и, хищно ощерясь, стал приближаться к нему от пылающей скирды. – И сейчас люди об этом узнают.

Голова Павла мотнулась и будто оторвалась. Опять потухающим сознанием Демидов сообразил, что Макшеев снова пнул его сапогом, снова, крича теперь на всю деревню, призывая людей на помощь, принялся его избивать, но боли не чувствовал. Вспухло перед ним что-то большое, оранжево-красное, разрослось и лопнуло беззвучно...

...За поджог колхозной риги (дотла сгорело несколько ржаных зародов, молотилка и две веялки) Павла Демидова осудили на десять лет. Что бы он ни говорил в свое оправдание, слова его звучали для всех как-то жалко, неубедительно – так уж все подвел Денис Макшеев, который – достигали до Павла отрывочные слухи – ходил теперь в героях за поимку поджигателя колхозного хлеба на месте преступления.

И покатилась жизнь Демидова колесом куда-то в пропасть, все глубже и глубже...

Срок он отбывал в лагере неподалеку от родных мест, строил на мерзлой земле рудник, что ли, какой-то. В сорок втором, осенью, неожиданно посадили его вместе с другими в грязную теплушку с зарешеченными окнами, повезли неведомо куда. С месяц, наверное, ехали, пока не узнали – на фронт, в штрафной батальон.

Но хоть и штрафной – а полегче все же стало, мир пошире открылся вокруг штрафников – люди обыкновенные, какие живут на земле. Поставил перед собой задачу Демидов: хоть и несправедливо обошлась с ним судьба, а надо доказать, что он человек все же, человеком и останется.

Но, видно, недаром говорят: судьба индейка, а жизнь копейка. Досуха выпил он вроде горькую чашу, да самая горечь на самом доньшке еще оставалась. И ее довелось выхлебнуть.

В первом же бою был он захвачен в плен.

Случилось это в ноябре, под станцией Качалинской. В ту

пору ходили слухи, что Красная армия готовится к могучим боям, чтобы отбросить фашистов от Сталинграда. И бои эти, по всему видно было, начались.

Их штрафному батальону поставили задачу во что бы то ни стало преодолеть полузамерзшую реку Дон, достичь другого берега, зацепиться за него и любой ценой удержать.

– Форсировать-то будут в другом месте, а нас на убой кидают, чтоб внимание немцев отвлечь, – сказал Демидову какой-то солдат из уголовников перед началом операции.

– Что ж, штрафники и есть штрафники.

– Оно так... А зазря-то на убой... На середке лед, говорят, совсем тонкий. Перетопнем еще.

– Заткнись, ты! – глухо кинул Демидов.

– Слушай, кореш... Я видел на занятиях – метко ты из винтовки лепишь, – не унимался рыжий. – А наше дело такое – до первого ранения, до первой крови.

– Ну? – насторожился Демидов.

– Вот тут в гомонце у меня пара кусков. И бока золотые.

– Что-что?

– Две тысячи, говорю, денег. И часы. Вот возьми. И один кусок... Сейчас, перед атакой, артподготовка начнется. Отойдем в овражек, а? Лупанешь меня из винтовки по левой руке... Ведь так и так... Грохот будет – выстрела никто не услышит. И я тебе другой кусок... Уцелеешь коли – пригодятся...

– Давай! – сурово проговорил Демидов. – Все давай! И

вторую тыщу.

На первых порах заключения Павел боялся всякой шпаны, а потом уяснил: эта сволочь силу уважает, подчиняется ей беспрекословно, и еще – наглость. И он научился управляться с этим народом. Поэтому сейчас, получив часы и деньги, он не торопясь спрятал все в карман. Потом развернулся и тяжело, с придыхом ударил жестким кулаком прямо в широкоскулое лицо уголовника. Тот отлетел в снег, быстро вскочил, вытирая кровь с подбородка.

– Сука, – спокойно сказал Демидов. – Я тебе не по руке, в самую голову прицелюсь, ежели ты во время дела начнешь за спины других прятаться. И не промахнусь, не надейся. Впереди меня пойдешь. И гляди у меня!

По растерянным глазам уголовника Павел видел, что сломал его, подчинил себе без остатка, хотя, конечно, понимал, что при удобном случае рыжий без колебаний пристрелит его. Но случай такой должен еще наступить, а Павел не лыком теперь шит...

Этот эпизод почему-то вселил в Павла уверенность, что он останется жив.

И остался, да лучше бы не оставаться.

Из затеи форсировать в тот день реку ничего не вышло, почти весь штрафбат напрасно полег на льду. От фашистской пули упал, опрокинувшись на спину, и рыжий уголовник, добросовестно бежавший все время впереди Павла. А тут и самого Демидова садануло в голову, она мотнулась, как

когда-то от пинка Макшеева, больно заныли шейные позвонки.

Это было последнее, что почувствовал или запомнил краем сознания Демидов. Очнулся он где-то в тесном вонючем бараке, услышал непривычную немецкую речь, сразу, без удивления и почему-то даже без досады, понял, где очутился. «Ах, Макшеев Денисий, ну погоди!» – подумал он только, как думал и прежде бессчетное количество дней и ночей, но на этот раз безразлично как-то, равнодушно, без злобы к нему. Внутри у Демидова словно ничего не было теперь живого, все онемело.

Таким онемевшим, отупевшим, безразличным ко всему, что с ним происходило, он и остался на многие годы. Это, наверное, и помогло ему выжить.

Немцы знали, что он штрафник, считали за бывшего уголовника, вербовали в какую-то власовскую армию, даже уговаривали. Демидов не знал, что это такое, но отказывался. Уговоры сменялись избиениями...

Неожиданно от него почему-то отступились, отправили в концлагерь на территории Польши. Там он был уборщиком трупов, каждое утро собирал их по всему лагерю и свозил на пегой лошаденке к крематорию.

Он возил их и возил до января сорок пятого года, к этому привыкли и узники, и сами немцы. Он никогда не брился, редко стригся. Густо и безобразно заросший волосом, походил на старика, ни сами немцы, ни узники вроде уж и не

принимали его за заключенного, а считали вольнонаемным уборщиком трупов, к тому же полуидиотом.

Советская армия захватила лагерь военнопленных стремительно и неожиданно. Даже в отдалении боев никаких не было слышно, пролетали только в последнее время на большой высоте над лагерем советские самолеты, и вдруг утром, перед самой зарей, в бараках послышался лязг железа. Узники высыпали на плац, и Демидов выскочил – за колючей проволокой, обтекая лагерь, грохоча гусеницами и воя моторами, стремительно неслись куда-то танки. «Куда ж они торопко так?» – подумал Демидов, убежденный, что это немецкие танки.

И вдруг один из них круто повернул, порвал, как паутину, туго натянутую колючую проволоку и остановился, поводя из стороны в сторону длинным пушечным стволом, будто выбирая, куда бы вклепить снаряд. И Демидов увидел на его броне пятиконечную звезду...

...Утром, когда рассвело, Павел стоял, комкая лагерную шапку, в толпе воющих, плачущих от радости заключенных, ждал своей очереди к представителям советской армии, составляющим списки бывших узников.

– Погодите, это что за чучело? – спросил кто-то, едва Павел переступил порог. – Откуда такой?

– Я русский. Демидов по фамилии.

– Ты ж облик человеческий совсем потерял.

– Кто ж тут его сохранил?

– Где в плен попал?

– На Дону где-то. Из штрафников я.

– За что в штрафники угодил?

– Осужденный был. За то, что будто бы колхозную ригу сжег.

– Как – будто бы?

– Я не поджигал. Денисий Макшеев поджег. А я жениться хотел на Марии. Оттого все и началось...

– Погоди, погоди, старик... Он полоумный, кажется.

– Нет, в уме покуда. И не старик – мне сорока нет пока еще. Вы послушайте...

Демидова выслушали терпеливо. Рассказывая обо всем, что с ним произошло, Павел увидел, что ему не верили.

– Да, тут разобраться не так-то просто, – сказал офицер с двумя полосками на погонах. – И не наше это дело.

– Да чье бы ни было – все едино не разберутся, – обреченно махнул рукой Демидов. – Лучше уж посадите до конца срок отсидеть, который мне даден.

...И еще три года мыкался Демидов по каким-то пересыльным пунктам, лагерям, по-прежнему безразличный к тому, что с ним происходит.

Он только чувствовал: люди, занимающиеся его судьбой, не знают теперь, что с ним делать.

Наконец в сорок восьмом году Демидова выпустили, обязав три года еще жить на поселении в том же северном районе, где был лагерь.

Но все проходит – прошли и эти добавочные три года. Мог теперь ехать Павел Демидов куда угодно. А куда? Где жизнь доживать? Мать умерла еще до войны, получил он известие как-то. Мария, Денис Макшеев, родное Колмогорово – все это было где-то уже в другом мире, будто за какой-то мутной бесконечной далью, преодолевать которую не было ни смысла, ни желания.

Демидов бы остался, наверное, до конца дней своих в неласковой северной земле, к которой как-то и привык за последние относительно свободные годы, чем-то и стала дорога она ему, может, незавидной своей холодной судьбой, нелегкой жизнью, если бы не слова тамошнего одного районного начальника. Показались они Демидову самым горьким из всего, что ему довелось испытать.

– Вот, ты хочешь у нас в районе остаться, – сказал ему тот человек. – А зачем ты нам такой?

– Какой – такой?

– А вот такой. Не человек, а просто так... имярек.

– Имярек, значит?

– Вот именно. Зачем ты такой стране нашей? Людям нашим?

– Я ни стране, ни людям ничего плохого не делал. Может, и хорошего тоже. Так вы дайте возможность.

– Возможность? У тебя была и есть одна возможность – покончить с собой. Не понимаю, почему ты не воспользовался ею до сих пор.

Почернело у Павла перед глазами, потемнели оконные стекла в кабинете этого человека, будто враз, в одну секунду залила непроглядная темень северный поселок.

Давным-давно, когда только-только осудили, дал зарок себе Павел – не пить больше сроду спиртного. Получив волю, исполнял свято клятву, не брал водки в рот и капли. А тут прямо из кабинета этого начальника пошел в магазин, купил бутылку, вылил в кружку и выпил в три-четыре глотка. Будто воду выглотал, не почуяв горечи. И с удивлением обнаружил – разжало сердце, отпустило туго натянутые по всему телу жилы.

И заплакал Павел Демидов. Все, что с ним было, переносил молча. А тут не выдержал.

– Не прощу, нет... Не могу! – решил он в ту ночь, думая о Макшееве.

В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли.

Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уж не надеялся, отвык от хорошего. И, внутренне чувствуя, что пытается судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком.

– Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле – стоит дальше мне жить али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться? – спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома.

Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя.

– Начальник-то я начальник... видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ... Из заключения, что ли?

– А для меня вся земля – тюрьма без решеток.

– Ишь ты, – усмехнулся тучный Агафонов. – Злой какой. А я вот стих однажды где-то читал: «Солнце светит всем – слепым и зрячим. В этом и величие его...» Это – как?

– Слова-то можно по-всякому составлять.

– Н-да... – Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова. – Ну-ка, чучело, себя замучило, рассказывай...

И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого.

Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаив даже и малейшей подробности.

Тот слушал не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок.

– Н-да... – опять он произнес, когда Павел кончил. – Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло – оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо.

– Это как же понять?

– А так... Я вот думаю: самое полезное для тебя сейчас будет – пожить где-нибудь в стороне от людей, один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакенщиком тебе устроиться на Енисее. А еще лучше – лесником.

– Значит, возле людей мне так и нету теперь места? – Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу.

– А ты поверь мне, Демидов. Вот хозяйка хлеба из печки когда вынет – сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет – отдохнуть от жара. И отмякнет он, хлеб, духу земного наберет. А люди? Людей и в лесу много.

– Ты из крестьян, видать? – Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафопова смотреть почему-то было неудобно, ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину пе-

ред этим человеком.

– Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас как вспомню – заносит сердце от тоски. Лес, природа вообще – это высший разум, какой есть под солнцем. Научись все это видеть и понимать – и обнаружишь в себе человека. А это для тебя – еще задача, уж поверь мне.

Демидов и понимал и не понимал, о чем говорит Агафонов. Но чувствовал – надо ему верить. И неожиданно для себя произнес:

– Да-а, хороший ты, должно быть, человек.

– А это люди по-разному считают, – усмехнулся Агафонов. – Так что ж, позвонить мне насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?

– Ты мою жизнь всю слышал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока.

– А ты поубавь-ка злости! – рассердился вдруг Агафонов, покраснел, как от натуги. – «Меня вон сколько...» А сколько? Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец... Это надо тебе сразу, тут же понять!

– Оно и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал: «Икать всю жизнь будешь». И вот – наикался! Меня тоже понять не худо бы.

– Значит, ты ему не простишь? Мстить собираешься? – Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место.

– А он что, Макшеев, живой? – быстро произнес Демидов.

дов. – Ты знаешь его?

– Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой.

– Где ж он живет-поживает?

– Там же и поживает, в Колмогорово. Женатый на этой твоей Марии.

Демидов сидел согнувшись, уперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжело, с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал – он ждет ответа на свой последний вопрос.

– А ты... ты вот простил бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы?

– Я? Простить – не знаю, не простил бы, кажется. А мстить, мारаться об него – побрезговал бы. Себе дороже.

– А я себя дорого теперь не ценю! – со злостью выкрикнул Демидов.

Они помолчали, будто каждый размышлял про себя, что же им делать, как разойтись? Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонову:

– И дети у них... у Макшеевых, имеются?

– Двое, кажется, сын и дочь.

Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся:

– Ладно... Не встретить я тебя... такого, кроваво отомстил бы ему. Теперь – не трону. Действием – не трону. А простить, как и ты вот говоришь, – не смогу. Это уж как хочешь.

– Как понять – «действием не трону»?

– Неужели не понятно?

– Чем же тронешь?

– Не знаю. Ничего не знаю. Позвони в лесничество.

Прощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил:

– Это вот, про стих – хорошо ты. Солнышко светит всем – и зрячим и слепым. Ведь просто, а верно.

– Правильно, Демидов! – обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов.

– И еще, должно быть, ты верно сказал: это для меня задача – обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел.

– Не задача, а ползадачи уже, – улыбнулся Агафонов.

– Нет, обманываешься, – упрямо повторил Демидов. – Что ум рассудит, то еще сердце пронять должно. А это – задача.

...И стал работать Демидов лесником близ Колмогорова.

Прав оказался толстый Агафонов. Вечный шум леса, птичьи звоны, говор таежных речушек действовали успокаивающе, душа Демидова отходила. Прав он был, что и людей в лесу много: охотники, рыбаки, ягодницы, грибники... Не было и дня, чтобы он не встретился с кем-то из людей, со многими подружился даже. Таким указывал лучшие ягодные, рыбные и грибные места.

С удивлением он обнаружил, что люди как-то быстро располагались к нему, молодые звали дядя Паша, а кто постарше – Павлом Григорьевичем. И он заметил еще – почему-то всегда доверчиво относились к нему бабы-ягодницы, без опаски шли за ним в самые глухие места, какие бы он ни указывал. Видно, молва шла о нем хорошая, добрая. И то сказать – ни разу ни одним словом, ни намеком не обидел он ни одну женщину.

Не удержался он лишь однажды, когда незнакомая колмогоровская – видно, из приезжих – бабенка Настасья откровенно упраскивающим взглядом заставила его присесть с ней на ласковую, травянистую полянку. Было ей лет под сорок, крепкая и чистая, она и потом прибежала к нему в лес, приходила, таясь и краснея, в его сторожку, ночевала иногда. Она, овдовевшая еще в сорок четвертом, согрела его щед-

рым женским теплом, пробудила в нем что-то неприятное, тоскующее.

– Вышла бы я за тебя, Павел, – сказала она однажды. – И не было бы счастливей меня бабы... Да не могу, дети отца живого помнят, не примут никогда тебя. Переломается все в душе их...

– Ты, Настасья, хорошая, сердце у тебя золотое, – ответил ей на это Демидов. – Но не обессудь – не взял бы я тебя. И никого никогда не возьму, один буду...

– Это почему, Павел? – спросила она, глядя на него с материнской тревогой. – Я вот давно примечаю – замерзлая у тебя душа будто, захлопнутая какая-то. Что такое у тебя в жизни вышло? Человек ты добрый, ласковый, а вот один. Попиваешь чуть не каждый день... Отчего?

– Не спрашивай об том. Не к чему людям знать... Как там Макшеевы у вас живут?

– Денис с Марией-продавщицей, что ли? А кто их знает... Денис этот – клещ из клещей, должно. А тебе-то почто? – спросила она, ревниво пошевеливая бровями.

– Так... Знавал я их в молодости. Потом... Потом уехать с этих мест надолго пришлось. А это как – из клещей?

– Сосет он, сдается мне, кровь из бабы. Он на фронте был, приехал с костылем, привез две брички всякого барахла – не знаю уж, кто ему надавал его. Подарки, говорит, герою-фронтовику. Дом сразу крепкий поставил. Да и без подарков этих жизнь у них – полная чаша. Продавщица она,

Мария, без стыда обвешивает, обсчитывает, обмеривает. И
окромя того – без совести ворует.

– Ты откуда знаешь? – с обидой даже спросил Демидов.

– Я что, слепая? Да и люди говорят. Еще когда он на фронт
поехал – жену продавщицей поставил. Он, говорят, до вой-
ны председателем сельсовета был. От какого-то поджигателя
колхоз, что ли, спас, ну его в председатели и поставили.

– Во-он что, – буркнул Демидов. – Как героя.

– Герой, задница с дырой. Сейчас боров боровом, а не ра-
ботает. Инвалид войны, говорит. Костыль давно бросил. А
слух в народе живет – жену с магазину все тянуть заставляет.
Даже бьет, говорят, коли за месяц меньше его расчету ста-
щит.

– Так уж и бьет? Так уж и план ей на воровство спуска-
ет? – опять с явной обидой промолвил Демидов. – Кто этому
свидетель?

– От людской молвы чего утаишь?

– Мало ли о чем болтают...

– Павел! Ты спрашиваешь, я отвечаю, как оно есть. А ты
будто обижаешься на мои слова. Что они тебе, Макшеевы?

– Ничего.

Так и не разъяснил он ей ничего, оставил в недоумении.

То, что рассказала ему Настасья, Павел знал и из осторож-
ных расспросов других. Все говорили примерно одно и то
же. И ненависть к этому человеку наслаивалась слой за сло-
ем, росла, как снежный ком, катящийся с горы.

Лицом к лицу с Денисом, однако, никогда не встречался, хотя рядом с ним бывал часто. Поедет ли Макшеев за хворостом, пойдет ли ловить рыбу – рыбак он был заядлый, ловил, правда, всегда удочкой, не браконьерничал, – Демидов, научившийся ходить по лесу бесшумно, не один километр прошагает, бывало, за ним следом, не один час просидит в береговых зарослях, наблюдая, как таскает Денис окуней или хариусов. Ловя рыбу, он глох ко всему окружающему, лицо его делалось бессмысленно счастливым, удовлетворенным. Сняв с крючка сильную рыбину, он почти каждую, прежде чем бросить ее в ведро, некоторое время держал в руке. И Павел, глядя на Макшеева, догадывался и понимал, что тому нравится ощущать, как упруго выгибается рыбина, бессильная теперь вырваться из его кулака.

В сердце Демидова в такие минуты толчками долбила кровь, мелькала, затуманивая глаза, страшная мысль: прицелиться из ружья в это взмокшее от животной радости лицо, да и... Но каждый раз в ушах колотились со звоном слова Агафонова: «А мстить, мараться об него – побрезговал бы...»

С Марией Демидов тоже никогда не встречался, водку, к которой, отчетливо сознавая весь ужас этого, пристрастился окончательно, покупал в соседних деревушках. Но однажды, понаблюдав вот так за Макшеевым, не таясь вышел из кустов и, закинув ружье за спину, пошел в Колмогорово. Макшеев, увидев поднявшегося из зарослей бородатого челове-

ка, вздрогнул, вскочил на ноги. Узнал или нет Макшеев его, Павел понять не мог, но видел, что тот испугался до смерти, даже челюсть бессильно отвисла.

«Не узнал, где узнать... — думал Павел всю дорогу, вплоть до деревни. — А в штаны наклал, дядя. Не тот, видать, стал ты, Денисий. Ну погоди, погоди... Действием я тебя и в самом деле не трону...»

Демидов направился было к магазину, но на дверях висел замок. Тогда он спросил у кого-то, где живут Макшеевы.

Через порог их дома он переступил, зная, как отомстить Макшееву за изломанную свою жизнь. Переступил и сказал жене Дениса, которая гладила электрическим утюгом белье:

— Здравствуй, Марька. Вот я пришел... Должок твоему мужу отдать.

— Какой должок? — повернула она красивое лицо к Демидову. — Ты кто такой? Чего у Дениса брал?

— Да я ничего. Это он у меня брал. Всю жизнь он у меня взял...

— Погоди, что мелешь? Какую жизнь...

— А какая бывает у человека? Взял — и переломил через колено, как сухой прутик.

И прежде чем замолк его голос, узнала она, кто стоит перед ней, опустила раскаленный утюг на дорогую шелковую рубашку мужа. Вмиг отлила вся кровь с ее лица, глаза сделались круглыми, закричала она беззвучно от боли. А голосом, глухим и осипшим, произнесла:

– Павел!..

Отмахнулась дверь, вбежал Денис Макшеев – он, видимо, шел, обеспокоенный до края, следом за Демидовым. Вбежал, глянул с порога на Павла, челюсть его опять отвалилась и теперь затряслась. Заблестели в темном рту металлические зубы. Мария отшатнулась к мужу, и оба они раздавленно прижались у стены.

– Это он, он... Павел Демидов! – выдохнула Мария. – Откуда ты?!

– Я вижу, вижу... – как ребенок проговорил Макшеев. Глаза его трусливо бегали, не зная, на чем остановиться.

– С того света, – усмехнулся Демидов.

– Я говорила – он придет, придет...

Запахло паленым. Демидов, не снимая ружья с плеча, подошел к столу, поднял утюг.

– Какую рубаху спортили, – сказал он ровно, без сожаления. Потом сел тут же, у стола, на табурет, поставил ружье между ног.

– Ну, слушай, Мария, чего он у меня взял, какой долг я должен заплатить ему. Я все расскажу, а ты, Мария, запомни-най.

И он долго рассказывал им, не торопясь, без злости в голосе, все-все, как рассказывал не так давно Агафонову. Рассказывал, будто о ком-то постороннем, а они слушали, все так же прижавшись друг к другу, не шелохнувшись, не в силах прервать его. Лицо Макшеева только мокло все обиль-

нее, с него капало.

– Ну а остаток жизни мне ни к чему теперь, не дорожу я им, – стал заканчивать Демидов. – Но уйду я в могилу чуть попозже тебя, Денисий. То есть прежде расплату с тобой произведу по чести. Я мог бы сотню раз уж произвести ее. Давненько уж этак – ты по лесу идешь или едешь, а я следом, незамеченный, за тобой, скрадываю тебя, как зверя. Сегодня, к примеру, с самой зари наблюдал твое рыболовство. Или сейчас вот – кто мне помешает расплату сделать? Патрон для тебя давно тут приготовлен. – Демидов похлопал по ружью. – Но... охота мне, дядя, поглядеть, как ты к смерти готовиться будешь. Так что – давай. Бить я тебя перед этим, как ты меня, не буду. Пристрелю просто, как только где... в лесу ли, в поле ли, попадешься мне в ловком месте.

И встал, пошел к порогу.

– Врешь... не посмеешь! – скрипуче выдавил из себя Макшеев, стирая ладонью пот со щек.

– Ну, я сказал, а ты слышал, – произнес Демидов спокойно, зная, что Макшеев помнит свои слова. – Судьбу свою ты добровольно выбрал.

И, не глядя больше на них, вышел.

И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае, в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз заворачивал в магазин Марии за водкой, за всякой снедью и, если в магазине никого не было, спрашивал:

– Как он там, Денисий наш с тобой? Еще жива душа в теле?

Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать. А однажды истерично разрыдалась:

– Изверг ты, паразит! Закрыв ты нам все небо!

– Почему – вам? Ему только. Тебя вот, детей твоих я не трону. Пущай растут.

– Да ведь это, ежели обсказать кому, пожаловаться властям-то, чем ты ему грозишь?!

– А что ж не жалуется? Я разве запрещаю? Пущай идет куда надо, все обсказывает – за что я его хочу, почему... Да и ходить не надо, с участковым милиционером, гляжу, подружился, на рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все, признается, кто колхозную ригу сжег тогда...

– Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый!

– Эвон что! А я так тебя жалею.

– Что-о? – заморгала она мокрыми ресницами.

– А только не уберезет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию, – ожесточась, пообещал Демидов.

Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.

И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.

– На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?

Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.

– Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.

И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.

...И еще раз два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.

Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидову:

– Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку... или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса...

На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал: – Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай... Мне-то жизнь моя и так ненужная, а ты попробуешь, что оно такое тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе...

Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы – пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть...

Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну – сделал тот нечеловеческую подлость. Что ж, бог, как говорится, пущай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь

его, Демидова, как-то теперь идет. Девчущку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь...

И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пушай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!

Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса – отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит, – если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал – Макшеев на это никогда не решится, подлость его – особого рода...

Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:

– Зайди к нам, Павел... Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.

– Как, как?

– По-деловому, сказал он.

– Интересно это, однако. Айда.

Денис встретил его, сидя за столом в рубашке-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.

– Интересно даже мне, говорю. Ну!

– Выйди, Мария. Дверь припри, – приказал Макшеев. –

Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился...

– На что?

– Не перебивай... – Он опять повилял глазами, не попадая ими на Демидова. – Ты ж понимаешь – я пойду и заявлю. преследуешь ты меня... Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.

– А мне это без внимания, что поверят, – усмехнулся Демидов. – Я свое отсидел, и пока с тобой не поквитался – никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй...

– Ты погоди...

– А славу себе создашь у людей... Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.

– погоди, говорю... – Голос его был торопливый и заискивающий. – Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.

Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:

– Это – как же?

– Что было меж нами – прости... Покаялся уж я бессчетно раз. Да что ж – не воротишь. Теперь девчущку вот ты взял, растишь...

– Говори прямо, сука! Без обходов.

Макшеев будто не слышал обидного слова.

– Возьми от меня деньги, Павел. Много дам... – Макшеев дышал торопливо и шумно. – Вот, если прямо... Оставь

только нас с Марией.

– Так... Сколько же?

– Целую тысячу дам. Дочку тебе растить... Еще больше дам!

– Краденых? Марией наворованных?

– Ты! – Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила. – Тебе что за забота, какие они?!

Демидов шагнул было к Макшееву, тот откачнулся.

– Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь, – раздельно произнес Демидов и ударил ладонью в дверь, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.

В сенях он услышал рыданье Марии, примедлил шаг. «Как ты только живешь с ним с таким?» – хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.

В другой раз случилось еще более страшное. Было это в причулымской тайге в конце мая или в начале июня – в ту пору уж замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали, кажется, кричать тоскливо и безнадежно.

Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках.

– Ты? – удивленно спросил Павел.

– Вот... грибов поискать.

– Какие пока грибы?

– Масленки пошли уж, сказывают. Места тут незнакомые

мне еще, укажешь, может?

Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.

Одета она была не по-грибному легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи.

– Ты как невеста, – сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.

– Что ж... я пришла, – проговорила она, не глядя на него. – Веди... на грибное место.

– Что ж... пойдем, – в тон ей ответил Демидов. – Ружье сейчас возьму вот.

Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на такое она... они, Макшевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли...

Полтора года назад приехали сюда, в Причулымье, Макшевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.

– Я тебе давал деньги большие? Давал? – закричал обессиленный вконец от такого неотступного преследования Мак-

шеев, встретив Демидова в поселке.

– Давал, давал, – согласился Павел.

– Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что? Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крепостной, просторный – возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи...

Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.

– А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом... – проговорил он задумчиво.

– Ну? Бери, бери!

– Н-нет, мало. Еще должок с Марии остается.

– Какой? – осипшим голосом спросил Макшеев.

– Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?

– Н-ну?

– Пушай и она расплатится со мной, – жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.

Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может...

А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот – решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение при-

несет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогих чулках ноги, не подозревая, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.

Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.

– Нету еще грибов, Мария, – сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. – Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день Масленицы снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.

Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.

– Раздевайся! – бросил он ей отрывисто.

Она вздрогнула, медленно, с трудом, выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.

– Павел... – Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. – Может... выпьешь сперва?

– Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.

Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик.

Демидов сидел, опустив голову, он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.

– И это... сымай. Тут никого нету.

И тогда она упала перед ним на колени, заплакала, подывая:

– Совсем не могу... Пожалей, Павел! Пожалей...

Ему в самом деле стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.

– Вот что скажи, Мария... Объясни. Как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем или ночью это было? Как... как решилась ты?!

– Как, как?! – Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез. – Он меня поедом съел: не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас...

– А ты?

– Что я?

– В самом деле не противно тебе?

Она замолчала, молчком вытирала слезы.

– Не знаю... Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.

– Что ж не уйдешь от него?

– Не уйдешь... А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?

В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки.

Ему еще более стало жаль Марию.

– А вот, допустим, принял бы. Ты видишь – я не женюсь. А почему?

– Павел? – Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. – Неужто... Неужто еще ты меня... еще осталось что у тебя ко мне?

– Нет, ничего не осталось, – ответил он. – Все спалила тюрьма, плен потом.

– За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить...

– Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела!

Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила:

– Я не оправдываю! Я не оправдываю...

– Вот езжу опять же за вами, таскаюсь, как хвост.

– Так это известно – зачем, почему.

– Известно. – Он скривил губы. – Ничего тебе не известно.

Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.

– Нет, я не смогла бы с тобой.

– Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.

– Не в том дело. С лица воду не пить.

– Почему ж тогда?

– Ты ж, я чувю, запретил бы мне... работать в торговле.

– А зачем? – усмехнулся он. – Работа для людей нужная.

– Ну – не позволил бы... этого... ничего такого.

– Воровать? – подсказал ей Демидов.

– Фу, какое слово!

– Обыкновенное. Воровка ведь ты.

– Ты?! – Она тяжело и гневно задышала. – Ты так понимаешь жизнь, а я – этак. Жить надо умеючи, как... как...

Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:

– Как Денисий научил тебя?

– Да, научил! – истерично выкрикнула она. – Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он – цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает... Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да... Рука у него тяжелая, да – мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее... потеплее под солнышком отвоевать. А ты – что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти – больше собрать можно за день...

Она говорила еще долго, он слушал, покачивая иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.

– Ты что? – сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.

– Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?

– Да, и на это! – будто даже гордясь, выкрикнула она. – И я, по рассуждению, поняла – а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда в тюрьме за тебя гнить. Животина ты противная! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?

Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неумеренной злобой.

– Исподню не надо, – сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.

– Пав... Пашка! – воскликнула она, вскакивая.

– Исподню не надо! – Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. – Исподню не надо, не надо...

Каждое слово будто прибавляло ему ярости, с каждым словом он хлестал ее все сильнее и безжалостнее – по этим оголенным рукам, по плечам, боясь выхлестнуть ей глаза и все-таки стараясь ударить по лицу.

– Не надо... Не надо! Береги глаза-то, дура!

Наконец она то ли поняла, то ли просто запнулась и упала в траву вниз лицом, прикрыв руками растрепанную голову. Демидов, не уставая, все махал и махал ремнем, уже ничего не приговаривая, крепко стиснув зубы. Легкая нижняя рубашка была давно располосована, на белом жирном теле обозначились синие полосы...

Он прекратил ее хлестать, когда она перестала вздрагивать под ударами.

Бросив в траву ремень, взял под мышку ружье.

– Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут... А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.

И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.

Под осень Макшеевы собрались и ухали на Обь, в село Дубровино. Три года прожил в причулымской тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби.

...Давно кончились дожди и всякая слякоть, припорошило снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесные дороги. Гринька целыми днями катался на лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяным от морозца, а Обь все катила мимо мазанки Демидова свои черные тяжелые волны, обтекая заснеженный островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежище, где по первому льду щедро брались на подергушку килограммовые окуни, громадные лещи, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже нельма, редкая теперь в Оби рыба.

Наконец могучая река обессилела окончательно, волны метали ниже и ровнее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течение было на глаз невидимым, но, знал Демидов, тугим и могучим, тянулась полоса чистой воды. У Дубровина стрежень проходил довольно далеко от берега, заворачивал за островок.

Чистая полоса воды день ото дня становилась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась – мороз выжимал из реки последнее тепло, накопленное за лето.

– Ишь мороз-морозило, добрая сила... Молодой, а старательный, – сказал однажды Демидов, глядя на реку.

Гринька привык к неожиданным мыслям отца об окружа-

ющих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал их.

– Что хорошего в морозе-то? – возразил он. – Холодно ведь. Кабы лето все время стояло – это лучше.

– Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь... Это как? Без мороза-то бы, без снега? А?

– На лыжах – это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.

– Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловница, земля, не легко уговорить ее, как мне, бывает, тебя. Вот он и ярится, как я. Но разве я со злом покрикиваю на тебя? И он, выходит, тоже по-отцовски ворчит. Разве не добрый он?

– А для чего земле спать ложиться? – спрашивал сосредоточенный Гринька.

– А как же, сын! – хмурясь, будто сердясь от Гринькиной непонятливости, говорил Демидов. – Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни – ну-ка? На другой день каков будешь? Бес-сильный ты будешь... Но земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.

– Да что ей отдыхать-то, – не унимался Гринька. – Она – земля и земля, не живая. Не устает.

– Это как – не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам... Утром человек просыпается – румяный, сильный, веселый. И земля весной – тоже. Человек с утра делом начинает заниматься – кто на работу, кто на

учебу... И земля тоже за дело с весны принимается – прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают. Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить – сколько сил надо?

Гринька думал, что-то представлял, видно, себе, отвечал уже осмысленно:

– Да... Много.

– То-то и вопрос. А окромя того – сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает... И много всего другого. А все для кого, а?

– Что – для кого?

– Земля все это делает?

– Ну так... по природе у нее так получается.

– Для человека все это она делает, Гринька! – пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только сына, но и себя хотел убедить в этом. – Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе – человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?

– Ага.

– Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа... какую бы подлые люди ни сделали тебе

подлость.

Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить пока не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:

– А подлых-то много людей на земле?

– Встречаются.

– А земля их тоже любит?

– Нет... Не любит таких.

– А почему они подлыми получаются?

– Не знаю... Такими вырастают вот.

– А тебе встречались такие?

– Попадались, сынок.

– А что ты с ними делал?

Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?

– Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж, – заторопился он. И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил: – Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.

– Значит, ты плохо понимаешь?

– Плохо, видно, сынок.

– А я хорошо, – сказал мальчишка, помолчав.

– Ну? – Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал сын, будто и в самом деле Гринька мог

сообщить ему что-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.

– Их надо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.

– Что-что? – Демидов сел на постели.

Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.

– Я ведь тоже думал, пап, что земля, наверное, живая и добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться, – сказал Гринька почему-то со вздохом. – И ягодкой в лесу угостит, и с ручейка напоит...

– Ну?..

– А вот ты помнишь – мы еще в сторожке жили – браконьерщик один лося застрелил?

– Как же... Я сколько за ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.

– Ну да. Он еще стрелял в тебя.

– Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.

– Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтобы в лодке уплыть, – ногу в каменной расселине застрял и сломал.

– Так... Так что?

– А то... Добрых людей она любит, а нехороших и сама наказывать умеет. Земля – она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы... – сурово

проговорил Гринька. — А ты его... на его же лодке в больницу отвез.

— Так... Так, так, — опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.

— А чего же с ними, раз они... — воскликнул горячо Гринька. — Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.

Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.

— Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька... — Демидов взбил подушку. — А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик... Да ведь и человек же, какой ни на есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?

— А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?

— Да... С одного боку-то, говорю, правильно ты. А с другого...

— С одного, с другого... По справедливости надо действовать, — не сдавался Гринька.

— Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.

— Чего — по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?

— А вот вырастешь — поймешь: есть ли, нету ли... Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.

Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он

на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него.

Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей наконец-то реки.

Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок – и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровине, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, а вечером в пятницу и нахлынут под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчера еще завезла с райцентра неисчислимое количество ящичков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровине «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждую бутылку без сдачи.

При воспоминании о «волчьем оке» Демидов вдруг подумал, что он с тех пор, как разбил бутылку об стену макшеевского дома, не выпил ни капли. И странное дело – ему не

хотелось. «Неужто не потянет больше? Да хоть бы! Гриньку надо дорастивать... Побалую-ка его ушицей завтра. Правда, самое уловистое место, самая богатая окунем яма – за стрежней, поближе к тому берегу, туда еще идти опасно, на самом стрежне лед не окреп. Да и тут, у самого островка, ничего ловится... Завтра встанет Гринька, а у меня уж уха! Ешь, сынок, да в школу...»

На другой день Павел действительно поднялся до зари, взял приготовленную с вечера наживку, удочку, пешню. Когда вышел на улицу, ночь еще была настоявшаяся, плотная, звезды горели крупные, перезревшие. Но самая яркая звезда, названия которой Демидов не знал, падала в кустарник на острове. Это означало – скоро будет светать.

Лед, когда Павел шел к острову, тихонько иногда потрескивал. Но треск был нечастый и тихий, неугрожающий, Демидов в этом разбирался. «А вот на стрежень нельзя, – думал он, – там не выдержит, проломится...»

Еще он думал о Гриньке, о том, что так и не сумел разъяснить тогда парнишке, как поступать с подлецами и есть ли на свете самая справедливая справедливость. И что надо теперь, если и потянет к бутылке, ни за что за нее не браться...

Пока шел так, не спеша, и думал, – начало зориться, краешек неба на востоке чуть разжижился.

Возле островка Демидов остановился, выбрал место, ударил пешней, с одного раза проткнул ледяную корку. Пешню он положил на лед и не успел разогнуться, как услышал

хрипло-истошное:

– Э-эу! Спаси-ите! Люди! Лю-юди!

Голос был искажен смертельным страхом. Но, сколь ни был он искажен, Демидов мгновенно, едва слышались первые звуки, понял, кому принадлежит этот голос. Более того, Павел будто ждал его и не удивился, когда услышал. И еще более того – он уже знал, наверняка знал, что произошло там, за крохотным мыском острова, откуда раздался крик. И внутри у Демидова что-то радостно екнуло, какая-то живая пружина, больно растянутая, соскочила с зарубки, сжалась, в одну секунду уняв многолетнюю боль. «Ага... ага!...» – дважды мелькнуло в мозгу удовлетворенно, успокаивающе. И охватило его чувство, будто неимоверной тяжести работа, которую он делал всю свою жизнь, наконец-то сделана, закончена, цель, к которой он стремился все эти годы, наконец-то достигнута...

Непонятно иногда, что происходит с человеком. И позавчера, и вчера, и сегодняшнее утро Демидов находился в смутном предчувствии чего-то небывало важного для него, ощущая, что приближается, все ближе и ближе подступает что-то такое, ради чего он мучительно жил все эти годы, ради чего, может, и родился. И это «что-то» было не объяснить, не понять...

– Люди-и! Лю-юди! – опять разнеслось над пустынной рекой, под темным холодным небом, на котором горели миллионы звезд, не дававших света.

«Вот оно!.. Вот оно!..» – вспышками сверкало в мозгу Демидова, и он, понимая, что надо идти, надо спешить на крик Макшеева, не трогался с места, ноги его будто прикипели к ледяной корке.

Да, непонятно, непонятно иногда, что происходит с человеком. Полчаса назад, выйдя из жилья, и несколькими минутами позже, шагая неторопливо по тонкому льду, Демидов Павел каким-то чутьем ощущал, что Денис Макшеев, ненавистный и смертельный ему враг, где-то здесь, неподалеку. Перебирая в памяти недавний разговор с Гринькой, слушая, как слабенько потрескивает под ногами, Павел думал еще, что неокрепший лед выдержит и грузную тушу Макшеева, лишь сильнее будет прогибаться и трещать. И у Макшеева тоже хватит ума не ходить пока за стрежень, к богатой рыбной зимовальной яме.

– Спаси-ите! – в третий раз донеслось до Павла.

Голос Макшеева был теперь слабый, безнадежный, обреченный. «Ну да, понимает – кто ж услышит в такой час? – равнодушно подумал Демидов. И так же спокойно отметил: – Пошел-таки за стрежень, не хватило ума. И – пушай, Бог-то, видно, есть на свете».

Думая так, Демидов, однако, торопливо шагал уже к островку, приближаясь к песчаному мыску. Почувствовав под ногами присыпанный снегом смерзшийся песок, вдруг обнаружил странное несоответствие своих мыслей и действий. «Пушай, а сам помочь вроде Макшееву тороплюсь! Нет уж...

Я только издали гляну – как он... Нет уж!»

Но и подумав так, Демидов не сбавил шага. Выбежав из-за мыска, он увидел впереди, в начинающей синеть темноте, черное пятно на льду, пошел прямо на него, отчетливо понимая, что идти не надо бы, что тоже может каждую секунду провалиться, ухнуть в холодную воду. Он даже представил себе, как это он ухнет – и сразу с головой. Течение тут сильное, за одну-две секунды тело его пронесет подо льдом на метр-полтора и понесет дальше, он будет биться какое-то время головой об ледяную корку, пытаясь проломить ее, понимая, что не проломить, будет биться, с каждым мгновением задыхаясь все больше. «А там, дома, Гринька спит еще... Он проснется, станет ждать, когда я вернусь с улицы...» Это будет последнее, что мелькнет у него в сознании, мелькнет – и потухнет...

– Скорей! Скорей, милый!

До Макшеева было метров десять. Но то ли этот крик, то ли угрожающий треск под ногами, а может, собственные мысли остановили Демидова, заставили бессознательно лечь на лед. Он лег, растянулся плашмя и ощутил, как больно колотится сердце. «Дурак, и в самом деле чуть не булькнул. А за-ради чего бы?...» И еще ощутил под животом, под грудью, под локтями ужасную бездонную пучину, прикрытую тонкой и хрупкой скорлупкой, услышал, хоть и понимал, что услышать этого нельзя, как тугие струи лижут из-под низу эту скорлупу. «Назад, назад! – стрелял кто-то ему торопли-

во в самый мозг. – Змеей ползи назад... вставать теперь не вздумай!...»

– Еще маленько придвинься, милый, – прохрипел Макшеев. – Лед сдержит. И брось мне чего-нибудь... Ремень...

– А ведь я это, Денисий.

– О-о-о!

Бессильная ярость, обреченность, предсмертный хрип – все было в этом возгласе Макшеева, разрезавшем стылый воздух. Демидов ясно различил каждый оттенок в его голосе, усмехнулся, опять чувствуя удовлетворение, холодок в своем сердце.

«А может, нахолодало оно сквозь полушубок ото льда?» – явилась вдруг откуда-то к нему непонятная мысль и заставила поморщиться.

Утро занималось по-зимнему трудно и медленно, темнота все больше наливалась синевой и, казалось, не рассасывалась, а плотнела.

Но Демидов все отлично видел в этой предрассветной мгле, различал даже потухающий блеск Макшеевых глаз.

Голова его торчала из полыньи, не очень широкой, но длинной, метров в шесть... Поперек полыньи лежал шест. Макшеев, обессиленный, висел на нем, а тугое сильное течение пыталось оторвать его тело от шеста, уволочь под ледяную корку ногами вперед. «Видно, все же понимал, что, проходя стрежень, может провалиться, взял с собой шест на всякий случай...» – отметил про себя Демидов.

– Павел, Павел! – дважды воскликнул Макшеев. – Погибаю ведь...

Демидов видел, что Макшеев погибает. Павел давно понял, что тут произошло, почему такая длинная полынья. Провалившись, Денис торопливо пытался выползти из полыньи, опираясь на шест, но хрупкий, тонкий лед подламывался и подламывался. Обломки немедленно затягивало под ледяную корку, уносило. Туда же тянуло и самого Макшеева, но он снова вылезал на стылую кромку, и она снова обламывалась. А тело сводило судорогой от холода и страха, силы уходили, и вот уж не хватает, чтобы еще раз лечь грудью на лед. Он висел на шесте крючком, ноги были где-то подо льдом, за них словно кто тянет все сильнее и сильнее и скоро сдернет его со скользкой обмерзшей жердины.

– Ты к кому за помощью-то обращаешься? Ты подумал бы.

– Павел! Павел! Павел!! – В голосе Макшеева была мольба, способная пронять, казалось, и камень.

– Ишь ты! – бросил ему на это Павел зло и насмешливо. – А вот Гринька этак мне выложил недавно: подлюков человеческих с землей наедине надо оставлять. Порядочных-то людей земля любит, а подлюков и сама умеет наказать. И не надобно ей мешать в этом... В этом, говорит, самая справедливая справедливость. А?

– Павел... Поимей человечность!

– Ведь ребенок, а верно рассудил.

– Поимей, говорю...

– А ты имел ее, когда там... в Колмогорово, возле риги молотил меня? Когда самолично в милицию отвез и поджог на меня свалил? Когда с моей невестой в кровать ложился?

– Я не имел... Я подлый, знаю... Но я ведь и оплатить свою подлость по-всякому пытался. Ты не захотел...

– А человечья подлость разве цену какую имеет? Нет ей цены. Ты это-то понимаешь?

– Не знаю... Не понять мне. Я думал...

– И не за подлость ты расплатиться хотел. Ты от меня избавиться хотел. Потому что боялся.

– Нет, я не боялся. Я знал, что ты не убьешь меня, пальцем не тронешь.

– Это уж врешь.

– Правда, правда. Ну сперва, может, и думал, что... В самом деле боялся, что... Потом понял – нет, не станешь ты...

– Мараться?

– Ага. Неприятно только было, что ты за нами все таскаешься... все рядом.

– Напоминало, что ль, это... об том, когда возле риги...

– Напоминало.

– Пожалел хоть когда об том?

– Что тебя убеждать? Не поверишь.

– Не поверю...

Они, эти два человека, два старика, разговаривали теперь спокойно, будто сидели вечером за самоваром, вспоминали

прошрое, пережитое. Если бы кто увидел, услышал – только по отдельным словам мог догадаться, что разговор их необычный какой-то. Да по тем обстоятельствам, в которых они находились: один лежал на льду животом вниз, другой торчал в полынье, повиснув на тонкой жердине.

Но видеть их было некому.

Поговорив, они замолчали. Плечи Макшеева, торчащие над водой, были льдистыми, мохнатая баранья шапка тоже обмерзла недлинными густыми сосульками. Неослабное речное течение все тянуло и тянуло его под лед. Силы Макшеева, видно, покидали, он потихоньку сползал с шеста, плечи его все больше погружались в воду.

– Прощай, Денисий, – сказал Павел. – Сейчас тебя... Последние секунды дышаешь.

Этот ровный голос, эти безжалостные слова будто вернули Макшеева к действительности, будто помогли до конца осознать то положение, в котором он находился.

– Павел... Павел Григорьевич! – воскликнул он, подвывая по-звериному.

– Ишь ты, и отчество вспомнил.

– Помоги же! Остаток дней буду молиться за тебя! Стелькой выстелюсь, а заслужу прощение твое... за все, за все! Помоги же...

– А как я, если б и захотел? Лед и подо мной лопнет.

– Не лопнет. Выдержит. Ты – худой, легонький.

– Да и сладостно мне на твою гибель глядеть.

– Я тебе деньги обещал... ты не принял. Мало, может? Помоги – все отдам, все...

– А сколько это – все?

– Ну три тыщи... Пять тысяч... Семь! Слышишь, семь!

– Мало. Рискую все же.

В голосе Демидова была насмешка, но Макшеев не заметил ее, не до этого ему было.

– Девять дам, девять! – закричал он, чувствуя, что его вот-вот сорвет с жердины. – Нету больше. Нету!

– Врешь, больше наворовал с Марией. Что ты все набавляешь по две тыщи? Прибавь еще... сразу с пяток.

И тут Макшеев завыл в полный голос, зарыдал, закричал, пропарывая сильно уже засиневший речной простор:

– Сволочь ты! Не человек ты! Все, все, сказал, отдам. И эти пять! И еще... Дом, все манатки продам... И все тебе, тебе. Бери все, подавись. Павел! Люди, люди!

«От падаль... мразь такая! – пламенем заметалось в мозгу Демидова, опалая все под черепом. И там, под черепом, что-то начало трещать, но Демидов понимал, что это не под черепом, это лед трещит все сильнее и угрожающе, потому что он ползет, извиваясь, к полынье, а под черепом больно отдается этот треск. – Еще и в самом деле провалюсь. А там дома Гринька... Конечно, он не останется один, его Надежда возьмет с Валентином и вырастят. Муж у нее славный парнишка, он сроду не обидит Гриньку...»

Когда до полыньи осталось метра три-четыре, Демидов,

все чувствуя, как прогибается под ним тонкая ледяная корка, перевернулся на спину, расстегнул полушубочный ремень, выдернул из-под себя. Затем расстегнул и выдернул брючный, начал их связывать.

– Скорее, Пашенька... Скорей! – услышал он.

– Ништо, продержишься... сволота вонючая... А нет – туда тебе и дорога.

И еще маленько подполз к страшной полынье Демидов, потому что и связанные ремни не доставали до Макшеева.

– Теперь так, Денисий... Хватайся за ремень, я потяну, а ты попробуй вскарабкаться на лед. Да чувствуй его крепкоту, шибко не дрыгайся. Без лишних толчков чтобы, иначе... А то я отпущу свой конец – и пропадай тогда.

– Я легонько, я легонько...

– Держи тогда.

Демидов свил в кольцо связанные ремни, бросил, стараясь попасть в голову Макшеева. И попал. Макшеев тотчас ухватился за спасительный конец. Демидов почувствовал – ухватился крепко, намертво.

– Теперь вылазь, – подтягивая ремень к себе, приказал Демидов. – Да, гляди, потихоньку...

Лед, присыпанный снежком, все же был скользкий. Макшеев за ремень только держался, к себе не дергал. Он понимал, что, если начнет лихорадочно дергать, Демидов заскользит к полынье и тоже провалится, если раньше не бросит свой конец.

За ремень Макшеев держался правой рукой, а левой, обламывая ногти, хватался за кромку льда, пытаясь поднять тело из полыньи. Но это ему никак не удавалось. Видя это, Демидов прокричал:

– Вверх по полынье продвигайся. Вверх...

– Ага, давай...

Демидов, слыша, как стучат зубы Макшеева, не выпуская ремня, перевернулся на спину, потом снова на живот, откатываясь влево. И опять потянул, помогая продвинуться Макшееву вверх по полынье.

– Теперь так... Ноги не свело судорогой?

– Не знаю... Не чую их. Нет вроде.

– Попробуй сейчас закинуть ногу на лед. Ну? Понял?

– Ага, ага... Счас...

Макшеев понял, зачем Демидов приказал продвинуться вверх по полынье и что требует сделать теперь: течение распластало его тело вдоль полыньи, надо чуть подогнуть левую ногу и выбросить ее наверх, на лед, а потом... Только ноги вот не повиновались...

– Правильно, волк тебя съест! – услышал вдруг он и понял, что хоть ноги и не повиновались, хоть он и не ощущал их, а сделал, видимо, что следовало. – Теперь я потяну, а ты спружинь ногой – и выкидывайся поосторожнее на лед. Ремни у меня крепкие, на твоё счастье. Ну, по команде. Раз, два...

Слова «три» Макшеев не услышал. Он только почувство-

вал, что находится уже не в воде, что лежит на льду. Почувствовал и от охватившей его радости опять заплакал.

– Спасибо... Павел. Спасибо-о!

Первое слово он прошептал, последнее выкрикнул.

– Ты еще погоду радоваться, страмота. Отползай теперь от полыньи подальше. Ползи! В воде не скрючило, так сейчас замерзнешь.

И Макшеев беспрекословно пополз, лед под ним трещал, но выдерживал.

– Падаль ты, а приперло – людей на помощь закричал! – донеслось до Макшеева.

Тот оглянулся, увидел, что Демидов сидит на льду, пытается развязать ремни. Будто испугавшись, что старый лесник подойдет сейчас к нему и примется безжалостно, как Марию когда-то, полосовать тяжелым полушубочным ремнем, будто забыв, что снова может провалиться, встал на коленки, потом на ноги, пошел прочь. Пошел сперва осторожно и медленно, разминая ноги, а затем постепенно стал прибавлять шаг. И наконец, чувствуя, что лед под ногой все крепче, что он почти не пружинит уже, побежал рысцой.

Демидов все сидел на льду, все глядел вслед Макшееву, пока тот не пропал за синим утренним сумраком.

Всю зиму Макшеев промаялся простудой, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили внешние ручки, начал окончательно поправляться. В солнечные дни он, отощавший и облинявший, выходил, опираясь на палку, на улицу, садился возле дома на солнечном припеке, хмуро оглядывал улицу, проходивших по ней людей, о чем-то думал.

Несколько раз он видел шагающего в магазин или из магазина Демидова, провожал его тяжелым ненавидящим взглядом. Демидов чувствовал, видимо, как тяжелеют бесцветные глаза Макшеева, ощущал их давящий взгляд. Он усмехался и проходил мимо. Макшеев замечал эту усмешку, складывал свои губы скобкой вниз, нервно постукивал палкой об землю.

Мария, когда Демидов приходил за покупками, с ним почти не разговаривала. Лишь когда Макшеева во второй раз увезли в больницу, она произнесла непонятное:

– Толку-то, что выволок ты его из полыньи. Все равно не жилец он теперь...

Она говорила недружелюбно, будто осуждала за что-то Павла.

Да еще раз спросила как-то:

– Ты что ж... вовсе бросил пить? Уж я и забыла, когда ты

последнюю бутылку купил.

Первый раз Демидов ничего не ответил Марии, а тут сказал:

– Чего в ней хорошего, в водке-то?

Демидов замечал – с Марией что-то происходит. За прилавком она стояла всегда хмурая, неразговорчивая. За зиму заметно спала с тела, осунулась. По деревне говорили – об муже переживает, но Демидов чувствовал – дело тут не в муже. А в чем – определить не мог, да и не старался.

Еще он заметил: когда Денис был в больнице, «волчье око» в доме Макшеевых не горело. Но едва возвращался – тотчас вспыхивало.

Однажды Макшеев окликнул-таки Демидова, встал со скамеечки, врытой у стенки дома, подошел к нему, опираясь на свою палку. Губы его были сложены все такой же скобкой.

– Ты... – произнес Макшеев и умолк, захлебнулся.

– Ну я. И что?

Глаза Макшеева были налиты, как свинцом, тяжелой ненавистью. Но странно – Демидова это не раздражало, не вызывало прежней злости, хотелось только поскорей уйти от Макшеева.

– Ждешь обещанного-то? Тысяч тех? За спасение.

– Жду, как же. Я ведь сразу поверил: раз обещаешь, то принесешь, – усмехнулся Демидов.

Макшеев на мгновение опешил, растерялся. А потом, вскипев, закричал на всю улицу, не сдерживаясь:

– Ты... быдло! Бирюк лесной! Фигу тебе жирную, а не деньги! Понял, понял? Выкуси!

Демидов помолчал и спросил так же спокойно, чуть задумчиво:

– Тяжко, значит, тебе?

Расколись земля перед Макшеевым на две половинки, рассыпья небо на осколки – он не побледнел бы так, как побледнел после этих слов Демидова. Запрокинув голову, держа белыми щеками, он хотел что-то выкрикнуть, выдавить из себя – и не мог. Так, с запрокинутой головой, он и стоял, пока Демидов не ушел, не скрылся в переулке.

...В тот вечер долго не вспыхивало «волчье око» в Дубровине, да так и не зажглось совсем. Демидов, заметив это, опять усмехнулся.

Не зажглось оно и на другой вечер. И вообще, никогда больше не светилося в темноте.

Лето набирало силу быстро, все более земля напITYвалась теплом, запылыхали дубровинские леса цветами, засвистели в них соловьи.

Все кругом пело и цвело, только Денис Макшеев все сох, горбился, будто задался целью согнуться в крючок, высохнуть на усах.

Ходил он теперь все время с костылем, нисколько не опасаясь Демидова. Наоборот, он даже старался как можно чаще попадаться ему на глаза в безлюдных местах, но Павел не обращал на это внимания, будто не замечал Макшеева.

Однажды Павел с Гринькой, нарыбачившись вдоволь, заночевали на берегу Оби. Разложив костер, Демидов сидел на плоском камне, глядел, как пляшут отсветы пламени на темной воде. Гринька, умаявшись, похрапывал в наскоро сооруженном шалаше. Шалаш Демидов закрыл сверху брезентом, так как за рекой погромыхивал гром.

Макшеев вышел из тайги на берег неожиданно, подошел к костру и протянул к огню руки. Демидов не ждал его, но не удивился появлению этого человека.

Посидев молчком, Макшеев кивнул на топор, лежавший на куче сушняка, собранного по берегу для костра:

— Что ж ты? Ночь хмарная, темная, и безлюдно, как в погребке. Всю жизнь ты, может, ждал такого...

– Пошел прочь отседова, – негромко произнес Павел.

– В реку меня столкнешь али в тайге где зароешь?.. Ну?

– Зачем? Живи, воняй дальше.

– Не хочешь, значит? Прощаешь?

– Пошел, сказано. Я б хотел – так из полыньи бы не вытягивал тебя.

– Э-э, нет... Я думал, зачем ты вытянул-то все же, в чем причина? Чтоб, значит, собственной рукой мне расчистить, чтоб с удовольствием, значит, было...

– Шарики за ролики у тебя совсем, гляжу, закатились.

Сказав это, Демидов поднялся и полез в шалаш, лег рядом с Гринькой. Вскоре пошел дождь, залил костер: Демидов слышал, как шипели, потухая, головешки. А Макшеев – Демидов чувствовал это – все сидел и сидел под дождем на мокрых камнях. Потом захрустели его шаги по гальке, удаляясь.

...В конце лета Макшеев, еще более усохший и почерневший, появился вдруг прямо в мазанку к Демидову. Гринька где-то бегал по деревне с ребяташками, Павел готовил обед на электрической плитке.

– Здравствуй, Павел, – сказал Макшеев бесцветным, ничего не выражающим голосом. В руках у него была хозяйственная сумка с металлической застежкой «молния».

– Здравствуй.

Демидов ответил на приветствие не тепло и не холодно, тоже равнодушно. И нельзя было предположить, что долгие-долгие годы разделяли этих людей смертельная вражда и ненависть.

Демидов продолжал возиться с кастрюлями. Макшеев понаблюдал за ним и сказал:

– Вот долг принес. Не думай, что обманщик.

– Что-о?

– Деньги-то. Бери.

И он опрокинул над столом хозяйственную сумку, вытряс из нее кучу денег в пачках. Демидов помолчал, разглядывая эту кучу.

– Сколько ж тут?

– Много. Ровно пятнадцать тысяч.

Демидов сел, минуты две глядел, шевеля бровями, то на

деньги, то на Макшеева. И Макшеев, сидя на другом конце стола, тоже глядел то на деньги, то на Демидова.

Так они и сидели, а между ними лежала эта куча денег.

– А не жалко тебе? – спросил наконец Демидов.

– Жизнь-то дороже. Раз я обещал...

– А Мария что?

– А какое ее тут дело?

– Н-ну, ладно... Спасибо.

– Берешь, значит? – И Макшеев облизнул пересохшие губы.

Демидов на этот раз ничего не ответил, опять они минуты две-три сидели молчком, недвижимые, каменяя будто все больше, все крепче. За окном неприкаянно болтался уже не летний, остывший ветерок, скрипел расшатавшейся дощатой ставней на тонких проржавевших петлях. Скрип был тихий, жалобный, тоскливый, но, кажется, ни тот ни другой его не слышали, сидели оглохшие.

Вдруг оконная ставня скрипнула погромче. Ржавый скрежет больно отдался в груди Павла Демидова, будто по сердцу его резанули чем-то тупым, зазубренным. Он поморщился от этой нестерпимой боли, медленно, с трудом разгибаясь, поднялся.

– Да... Спасибо, говорю... – Голос его тоже был сух и скрипуч, как звук болтающейся ставни. Павел жесткими, заскорузлыми пальцами взял со стола одну пачку денег, другую, третью... Всего их было тринадцать – одна в пятидеся-

тирублевых купюрах, восемь – в десятирублевых и четыре – в пятирублевых. По сто листов в каждой пачке в стандартной банковской упаковке. – Глядь-ка, чертова дюжина.

И Павел мучительно усмехнулся.

Еще когда Демидов стал подниматься, Макшеев начал почему-то бледнеть. Пальцы его рук, лежавших на столе, мелко-мелко задрожали, и он рывком сдернул руки со стола, но куда деть их – не знал и то совал ладони в карманы старого измятого пиджака, то выбрасывал опять на стол. Потом схватил стоящую на полу сумку, поставил на колени и принялся судорожно мять ее, не замечая, однако, этого.

Демидов опять усмехнулся и вымолвил странное, непонятное:

– Арифметика-то – наука едкая.

Макшеев перестал мять сумку, затих, будто пытаюсь добраться до смысла этих слов. Лицо его было теперь серым, землистым. Он еще раз облизал губы, тоже посеревшие, бескровные. И как-то униженно, умоляюще попросил:

– Ты пересчитай... Тут ровно пятнадцать тысяч...

– Я и считаю... С тридцать восьмого по сорок восьмой, значит, я мыкался... Три года поселения считать уж не будем... Десять лет... За каждый год, – значит, ты положил мне по полторы тысячи... По сто двадцать пять рублей за месяц... По четыре рубля за день... за каждый день. Ишь какая, объясняю, арифметика.

Демидов говорил сперва громко и отчетливо, выбрасывая

фразы толчками, будто сыпал из автомата отрывистыми очередями. Потом горло его стало перехватывать, голос осел, осип. Последние слова он произнес шепотом, вытолкнул из себя с трудом. На Макшеева он не глядел.

По мере того как Демидов говорил, к щекам Макшеева стала приливать кровь, в складках лба и на переносице проступила мелкая испарина.

– Так что ж... Так что ж... – бессвязно пробормотал он. – А ты все равно возьми...

По дряблему горлу Демидова прокатился крупный и тяжелый комок, будто прочистил ему глотку, и он сказал прежним голосом – крепким и ясным:

– И почто меня, дурака, еще десять лет там не продержали! Теперь бы, может, тридцать тысяч от тебя получил. А? Дал бы тридцать?

Макшеев по-прежнему держал сумку на коленях, не мигая, ничего, может, не видя, глядел куда-то в сторону, в окно, за которым ветер шатал верхушки пожелтевших уже берез.

– Что молчишь? Дал бы? – вскричал Демидов, багровея.

– Дал бы, дал... – машинально и торопливо закивал Макшеев. И, только проговорив это, опомнился, сильно вздрогнул. И до конца понял, о чем идет речь, по-своему что-то сообразив, так же торопливо глотая слова, стал продолжать: – И сейчас дам... Она, конечно, не тетка... тюрьма-то. По четыре рубля – мало... У меня наберется. Я завтра принесу еще полную сумку... Принесу, говорю, не трожь! Не трогай,

Павел...

Это Демидов, шагнув к Макшееву, пытался взять у него сумку, а тот судорожно прижимал ее к животу локтями. Но Демидов все же вырвал сумку и, держа ее у кромки стола на весу, сгреб все пачки денег в темный кожаный зев. Затем поставил сумку на стол, задернул застежку «молнию». Неприятный металлический звук будто пропорол установившееся за секунду до этого в комнате полнейшее безмолвие, и вот стало слышно тяжкое и хриплое дыхание этих двух стариков.

Оба – Макшеев и Павел – глядели теперь безотрывно – на сумку. Макшеев, одной рукой ухватившись за свое колено, а другую сунув в карман, сидел чуть наклонившись вперед, будто хотел вскочить, да никак не мог осмелиться. Демидов же стоял у стола столбом, навывтяжку, а длинные руки его с широкими ладонями висели вдоль туловища, как тяжелые узловатые плети. Щеки, лоб, все лицо Макшеева стало теперь красным, распаренным, покрытым крупными каплями пота, будто он только-только вернулся из жаркой бани, этот пот ручейками стекал по шее под рубаху, капал с подбородка на колени. Лицо же Павла Демидова было сухое, жесткое какое-то, чуть бледноватое. Оно было неподвижно, его лицо, только на скулах непрерывно вспухали и опадали желваки.

Потом они одновременно, оба с великим трудом, оторвали глаза от сумки, Демидов начал поворачиваться не спеша к Макшееву, а Макшеев медленно стал поднимать на Демидова свой взгляд.

Электрический разряд, казалось, взорвался в комнате, когда взгляды их встретились. Взорвался, опалил их лица, обуглил глаза – у того и у другого в неподвижных, свинцово-тусклых глазах ничего не было, кроме прежней ожесточенности, непримиримости, смертельной ненависти.

– Пошел отседова, – тихо сказал Демидов, с трудом разжав тяжелые сухие губы. Одной рукой схватил сумку со стола и швырнул на колени Макшеева.

Макшеев нервно дернулся, чуть не свалился на пол. Удержаться ему помогло, казалось, то обстоятельство, что он обеими руками цепко ухватился за сумку.

– Ты... чего, Павел? – прохрипел он. – Не берешь, что ли?
– Во-он!

И Павел, дергаясь лицом, подскочил к Макшееву, схватил его за шиворот, сильно толкнул к двери. Но вгорячах, видно, не рассчитал направление толчка, попал Макшеевым не в дверь, а в косяк. Тот, не выпуская сумки из рук, обернулся стремительно, угрожающе, а заговорил голосом неожиданно униженным и просящим:

– Я же хотел, Павел, как лучше... по-человечески... Ты пойми...

Эти слова разъярили Демидова окончательно.

– Т-ты! – замычал он сквозь крепко стиснутые зубы, ринулся к порогу, ногой ударил в дверь, точно хотел разнести ее в щепки. – Т-ты-ы!

И, опять схватив Макшеева за шиворот, поволок его из

комнаты, как щенка.

...Случайно оказавшиеся в тот час на приречной улице колхозный тракторист Ленька и дочка конюха Артамона Клавка с изумлением глядели, как бывший лесник Демидов тащит куда-то за шиворот упирающегося Макшеева.

Они слышали, как Макшеев все время выкрикивал умоляюще одно и то же:

– Павел!.. Пашка!..

И как Демидов на каждый макшеевский вскрик отвечал:

– Я понял! Понял я...

– Топить, что ли, ведешь его? – вежливо поинтересовался Ленька, когда Демидов с Макшеевым поравнялись.

– Они же пьяные, Лень! – воскликнула Клавка испуганно.

Эти голоса будто привели Демидова в чувство, он остановился, не выпуская, однако, воротника Макшеева из цепкого кулака. Потом сильно отшвырнул своего врага прочь:

– Оно и утопить нелишне бы...

И, шумно дыша, принялся вытирать ладони об одежду.

А Макшеев, отлетев на несколько шагов, обернулся и встал как-то странно, на раскоряченных и чуть согнутых ногах. Одной рукой он обтер мокрое лицо, а другой покрепче и поудобнее взял сумку за потрескавшиеся кожаные ремни, будто намеревался подскочить к Демидову и разmozжить ему этой сумкой голову.

– Значит, так... значит, так – не берешь?

– Отнеси Марьке... Она за это каждый час рискует, всю

кровь отдает.

– Последний раз спрашиваю?! – взвизгнул вдруг Макшеев.

Демидов, уже успокоенный, усмехнулся:

– Высохнете ведь после с Марькой на усах, как полынные стебли... Жалко на вас глядеть мне будет.

– Высохнем?! Тогда... гляди! – выкрикнул Макшеев, сверкая глазами, и побежал к реке.

Улица проходила по самому берегу Оби. В пяти метрах начинался довольно крутой глиняный откос, затем, до самой воды, шла неширокая песчаная полоса. Макшеев торопливо скатился с откоса, разбрызгивая ногами песок, побежал дальше. У воды остановился, обернулся, прокричал еще раз снизу:

– Тогда – гляди, сволочь!

И, размахнувшись, швырнул сумку с деньгами в реку.

– Ой! – воскликнула Клавка. – Чегой-то он?!

Голос Клавки еще не умолк, когда сумка, описав крутую дугу, как черная неуклюжая птица упала в реку. Течение сразу поволокло ее, отбивая все дальше и дальше от берега.

Едва сумка плюхнулась в воду, Макшеев сорвался с места и, будто намереваясь кинуться за ней в реку, торопливо сделал несколько шагов вниз по течению. Но потом замедлил шаги, остановился...

Сумка, чернея на светло-желтой воде, уплывала все дальше. Молча смотрели на нее Ленька-тракторист, Клавка, Де-

мидов... Молча смотрел и Макшеев. Он стоял сутулясь, безвольно опустив вниз руки, спиной к деревне и к людям...

Когда черное пятно на воде исчезло – то ли сумка потонула, то ли просто уплыла из виду, Макшеев сел на песок, низко уронил голову.

– Да что... что это он сделал?! – опять воскликнула Клавка. – Что в сумке-то было?

– Ничего там не было, – ответил Демидов.

При этих словах Ленька-тракторист, давно стригущий по-серьезневшими глазами то Макшеева, то Демидова, явно пытаясь разгадать, что же произошло между этими людьми, и, может быть, догадываясь даже о чем-то, еще раз сквозь прищуренные веки пристально поглядел на Демидова и повернулся к Клавке:

– Ну, пойдем отсюда, – и взял девушку за руку.

– Дурак! Вот дурак! – проговорила Клавка осуждающе в сторону Макшеева. – Сумка была ведь почти новая, кожаная. Рублей двадцать, однако, стоит.

– Ага... Сумку жалко, – сказал Демидов.

Опять зарядили дожди над дубровинской тайгой, лес стоял мокрый и унылый. Катила и катила Обь бесконечные и бесшумные волны, но, если поднимался ветер, река вскипала от злости и, раскачавшись, била и била в каменистые берега всей своей тяжестью.

За остаток лета и за всю осень Демидов не видел Макшеева ни разу. Тот будто сквозь землю провалился.

Жена его, Мария, тоже начала вдруг сохнуть, как и сам Макшеев, стареть прямо на виду. Щеки ее поблекли и смялись, за прилавком она стояла растрепанная, с вечно распухшими глазами, – видно, она часто и много плакала.

– Взяла бы ты себя в руки, Марька, – сказал ей однажды Демидов. – Смотреть на тебя тошно.

– Что ты сделал, паразит такой, с Денисом моим?! Что сделал! – истерично закричала она.

Павел торопливо ушел из магазина.

Когда расхлябанная дождями земля начала от утренних заморозков костенеть, а с неба нет-нет да просыпались снежинки, Мария заявила вдруг к Павлу домой, прислонилась к дверному косяку, зажала лицо платком и опять произнесла сквозь слезы, как в магазине:

– Что ты сделал с Денисом моим? Что сделал?

– Погоди, – проговорил Павел. – Сядь, что ли, проходи...

Он усадил ее возле стола, она немного успокоилась, всхлипывала только время от времени и глядела тоскливо в окно, постаревшая, неприглядная.

– Что с ним, с Денисием? – тихо спросил Павел.

– Что... Лежит в дому, как барсук в норе, который месяц на улицу не выходит... Ворочается, будто жжет у него все внутри. Зубами скрежещет по ночам – страшно прямо... Пить начал вот. Ты бросил, а он начал.

– А его и жжет, Мария... Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает.

– Я знаю, – вздохнула женщина. – Как он тебя костерит, напившись-то! По косточкам разламывает. Взял, орет, человечье превосходство надо мной, думает? Ишь – простил мне все, из реки выволок и денег не принял за спасение. Ишь – тебя ремнем отхлестал! Благородный какой...

– Я вот все думаю, Мария... Он – ладно. Я теперь не удивляюсь, что он прислал тогда тебя ко мне в сторожку. А ты сама-то как на такое... на это решилась?

– Ты полегче чего спросил бы! – воскликнула она. – Дура, битком набитая дура я... – И, захлебываясь хлынувшими опять слезами, продолжала: – Ты еще не знаешь, какая я стерва-то... не лучше Дениса. Что ты в молодости во мне нашел? Ведь тогда, как ты на уговор про свадьбу приходил к нам... я знала, что Денис возле риги тебя ждать будет. Он мне наказал – ты напои его посильней, чтоб память ему отшибло. А какая, грит, останется, я до аккуратной пустоты

выколочу. И я постаралась...

– Я это знаю... давно догадался, – глухо уронил Демидов, отвернувшись.

– Ну вот... А это, к сторожке – что уж мне...

Демидов полез за папиросой, задымил.

– Вот ты говорил недавно: ни бабы, ни человека с меня не выросло. Так оно и есть... Я бы другая вышла, может, не попадись мне на пути Денис. Да что теперь! Ты, а вместе с тобой и та, другая жизнь, которая у меня могла быть, стороной прошли.

– Да, уж теперь-то что, – согласился с ней Павел Демидов.

– Отчего он бесится особенно – не может постичь, как это ты простил его. Когда спас от гибели – он думал: на деньги большие наконец-то позарился. Ага, говорит, люди все одинаковые! Сейчас ему не денег пропавших жалко, а то, что себе ты их не взял... Без выгоды, значит, рисковал тогда собой, без выгоды спас и до конца не оставил злости, простил. Почему, стонет, почему?

– Это все обыкновенно понять, Мария, – сказал Демидов. – Не могу я больше с ненавистью в душе жить. Тяжко стало. Отдохнуть захотелось.

Женщина глядела на него теперь удивленно:

– Непонятно. И мне непонятно... Он тебе жизнь изломал, все перековеркал. Он и я... А ты прощаешь...

– Ну да, прощаю! – вдруг начал сердиться Демидов. – Но только он отчего мучается-то? Отчего его жар сжигает? Он,

я соображаю, понимать начал – не передо мной он только виноват, а перед всеми людьми, перед землей, на которой живет... Свое я ему прощаю, а люди не простят никогда! Ни ему, ни тебе. Потому что если прощать будут таким... и за такое – что же на земле будет?

Мария посидела еще, обдумывая его слова, встала, медленно пошла к дверям. Там остановилась, опять прижалась спиной к косяку.

– Вот зачем я приходила? – произнесла она негромко, измученным голосом. Потом долго терла обеими руками щеки. Уронила руки, вытянулась сильно и туго. Щеки ее были теперь такие же белые, как стенка, возле которой она стояла, глаза блестели нездоровым блеском. – Я вот что, Павел, приходила – не надо, не надо было тебе его из полыньи вытаскивать... Так лучше было бы... И для него и для меня...

– Эвон что! А ты поняла б меня, коли я не вытащил? Мог, а вот не захотел...

– А кто узнал бы? Один на один вы были...

– Да-а... А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы да и забыл?

Мария стояла все так же, сильно вытянувшись, будто прибитая к стенке. Она долго пыталась поймать смысл его последних слов, а может, смысл всего разговора. И вдруг, заломив руки, вскричала:

– Господи! Счастье-то какое мимо меня прошло!

И с этим криком выбежала на улицу.

Зима начиналась тощая, бесснежная. Обь встала неделю назад, а земля была почти голой. Так, сантиметра на два была она присыпана сухой крупкой, на дубровинских улицах торчали острые гребни затвердевшей грязи. Не проехать было по улицам ни на санях, ни на телеге.

В пятницу ударил вдруг такой мороз, что в тайге гулко застреляли, лопаясь, деревья.

Под вечер, как всегда, несмотря на адский холод, нагрянули из города рыбаки, до полночи стучали в закрытые ставни макшеевского дома, хотя привычное для них оконце не горело и Мария прилепила там бумажку с крупными буквами: «Водки нет».

– Стучат... Вот я возьму кочергу да постучу им выйду, – несколько раз говорил Денис Макшеев желчно, расхаживая по комнате в нижней рубахе.

Потом он каждый раз садился к столу, ставил на него локти, зажимал голову и сидел так долго, копя – знала Мария – ненависть к ней. И, накопив, бросал ей через всю комнату, чуть поворачивая заросшее грязным волосом лицо:

– Сука ты! Сучка вонючая... Ты во всем виноватая!

Денис дошел до края, это Мария видела и понимала.

Он последний месяц грыз ее за то, что не смогла она тогда в лесу соблазнить Демидова.

– Подстелилась бы ты под него, он отстал бы от нас, я знаю, знаю... А ты, кобыла, этого не сумела.

Сперва Мария возмущалась на такие слова, обижалась, плакала.

– С-сыть! Распустила сопли! – гремел Макшеев. – Не понимаешь, что ли?! Сумела б полюбовницей его сделаться – он бы не стал меня из реки вытаскивать. А он вытащил, он рассчитал все – живи, мол, и размышляй, какая ты плесень и какой я человек хороший...

– Денис, да что об этом думать! – умоляла она его. – Уедем отсюда! Он теперь за нами не потащится.

– Уедем... Пробовали! Не уехать теперь от этого никуда.

Мария чувствовала, как тупеет что-то у нее в груди, в голове.

Где-то за полночь рыбаки стучать в ставни перестали, угомонились, а Макшеев все ходил и ходил по комнате. Затем полез в чулан, выволок рыболовные свои снасти – удочку-подергушку, черпак, пешню.

Пешню он долго осматривал, трогал острый конец, пробовал зачем-то на вес.

– Никак и ты рыбачить собираешься? – приподняла Мария с кровати растрепанную голову.

– Не провалюсь теперь, не бойся, – ответил он со смешком. – Лед сейчас уже крепкий – грузовик вчерась переезжал на тот берег.

Приготовив снасти, он лег, но не спал, все ворочался, все

сопел глухо. Встал поздно, когда уже рассвело.

Молча он позавтракал, выпил полный стакан водки. Посидел, подумал, выпил еще один стакан.

– Чтоб теплее было, – пояснил он вдруг. – Ночью отдало вроде, ишь окна оттаяли. Да не лето все же...

Затем он надел тужурку, баранью шапку, собрал свои снасти и ушел, бросив от порога вчерашнее:

– Да... Не уехать теперь от этого никуда.

Оставшись одна в доме, Мария убрала со стола, оделась, пошла в магазин на работу. И когда убирала со стола, и когда шагала по кочковатой улице, все думала об этих последних словах мужа. Она слышала их не однажды, знала, какое содержание вкладывает в них Денис. Однако на этот раз в голосе мужа было что-то новое, непонятное, пугающее. Голос был, как обычно, с хрипотцой, но в нем не чувствовалось, как всегда, ни злости, ни бессильной ярости. Голос был равнодушный, безразличный к тому смыслу, какой заключали слова, и это настораживало, беспокоило ее все сильнее и сильнее. К тому же, говоря их, Денис криво усмехнулся, лицо его перекосило, оно было все перепахано судорогой, и глаза блеснули тупо, бессмысленно, потухающим каким-то светом...

Мария вспомнила выражение его лица и блеск его глаз, уже дойдя до магазина, открывая замок на дверях. И тут ей ударило больно в голову: а наживки-то?! Раньше, собираясь на рыбалку, Денис загодя готовил всякие наживки, долго во-

зился с ними. А сейчас даже и не подумал об них! Какая ж тогда рыбалка? Господи, да ведь он...

Дрожащими руками она выдернула ключ из полуоткрытого замка, но тут же уронила на землю, искать не стала, потому что не заметила даже, что уронила, кинулась вдоль улицы к берегу. Зачем бежала, что могло случиться с Денисом там, на реке? Лед окреп, он вчера выдержал грузовик. Но она бежала, не понимая еще зачем, какая-то сила толкала и толкала ее вперед, а в голове звенели и звенели разламывающие череп звоны...

...Выйдя из дома, Макшеев глотнул холодного воздуха, глотнул неосторожно много, до крови, казалось, оцарапав изнутри всю грудь. Хмеля он никакого не чувствовал, хотя только что выпил целую бутылку, но тут голова вдруг сильно закружилась. Впрочем, это быстро прошло, и он широко зашагал к реке, держа тяжелую пешню наперевес, прижимая ее локтем к боку.

Все речное пространство за островком, у противоположного берега, было усеяно рыбаками. Они сидели то кучками, то россыпью, кое-где стояли на льду брезентовые палатки.

Денис Макшеев, сосредоточенно глядя себе под ноги, точно боялся оступиться, пошел к островку.

Первого, кого он увидел, обогнув островок, был Демидов. Рядом, над лункой, сидел приемный сын его, Гринька, старательно работал подергушкой. Он раскраснелся, глаза его от азарта поблескивали.

Клев был отменный, возле лунок Демидова и Гриньки валялось десятка по три окаменевших рыббин.

– Окунь, значит, один идет? – вдруг останавливаясь, проговорил Макшеев.

Демидов глянул на него, но ничего не ответил, отвернулся к лунке.

– А сын-то – ишь...

– Что – сын?

– Ловко, говорю, того... Наловчился уж.

Демидов снова поднял недоумевающее лицо. Макшеев усмехнулся как-то странно, одной стороной лица. Будто не усмехнулся даже, а подмигнул.

– И правильно, пусть... Нету радостней занятия, кто поймет... рыбалка-то...

Он скривил шею и пошел дальше, неся голову на отлете. Но вдруг остановился, произнес, тускло поблескивая двумя металлическими зубами:

– Я так и рассчитывал, что ты тут, дядя... Да, я знал...

Его непонятная усмешка, его слова, особенно последние, это любимое им в молодости словечко «дядя» – все не понравилось Демидову, чем-то обеспокоило, вызвало нехорошее чувство. Он забыл про свою удочку, не отрываясь стал глядеть на Макшеева.

А Макшеев никак, видимо, не мог выбрать место для лунки, все ходил и ходил меж рыбаков, по-прежнему держа голову набок. Наконец выбрал, кажется, принялся долбить лед в сторонке от всех. Долбил он долго, раза три нагибался, вычерпывая из лунки ледяные крошки.

«Лед-то всего ничего, сантиметров десять, а он столько возится, – отметил про себя Демидов. – Обессилел, что ли, совсем?»

Павел хотел заняться своей удочкой, но в это время Макшеев бросил пешню. Он отшвырнул ее далеко, будто ненуж-

ную, мешающую ему вещь. Демидов быстро положил на лед свою подергушку, жесткие, выцветшие брови его дрогнули, сдвинулись. Умом он ничего не мог еще сообразить, а в сердце больно кольнуло раз, другой...

А Макшеев меж тем вдруг расстегнул и сбросил на лед полушубок. Демидов вскочил, чувствуя, как дрожат колени, не сам вскочил – подняла его будто какая-то посторонняя сила. Сознание же все еще не работало.

– Дени-ис! Держите его! Помешайте! Держите-е... – разнесся над белой рекой пронзительный женский голос. Он был страшен, этот голос, своей неожиданностью и мольбой о помощи. Рыбаки повскакивали, не понимая, кто и почему кричит, о чем умоляет: лед, кажется, крепкий, надежный, провалиться никто не мог.

Только Демидов все понял наконец, сорвался с места, тяжело побежал к Макшееву. Гринька испуганно глядел вслед отцу.

А Макшеев стоял возле продолбленной им широкой, диаметром чуть не в метр, дырки во льду. Стоял, вытянувшись в струнку, как суслик перед норкой, и будто терпеливо ждал, когда подбежит к нему Демидов. Грудь его ходила толчками, лицо было багрово-темным. Трясущейся рукой он расстегнул воротник рубахи-косоворотки, словно он жал, не давал дышать.

Когда Демидов был метрах в пяти, Макшеев крепко прижал к туловищу руки, шагнул в прорубь и столбом рухнул

вниз. Из проруби на лед тяжело плеснулась вода.

— Папка-а! — в ужасе закричал Гринька, оказавшись рядом. — Это... что? Как он? Зачем?!

Мальчишка был бледный как снег. Демидов цепко схватил его, прижал к себе, точно опасаясь, что и Гринька может прыгнуть в воду, под лед.

— Ничего, сынок... Ничего. Он, дядька Денис, оступился, видишь... — бессвязно зашептал Павел. — На льду-то осторожно надо, опасно всегда. А он не поберегся... подскользнулся и упал...

Они стояли так, прижавшись друг к другу, и тупо глядели, как в проруби бурлит черная вода. Эта вода крутила и крутила размокшую баранью шапку Дениса Макшеева, а потом уволокло ее под лед.

Отовсюду бежали люди к тому месту, где стояли Демидов с Гринькой. Только Мария уже не бежала. Увидев, что муж рухнул в прорубь, она остановилась, будто наткнулась на крепкую стенку, постояла, подломила в коленках, потом в поясе и упала головой вниз.

Она и не плакала вроде, голоса ее не было слышно. Лишь тело ее крупно тряслось...

Недели две Павел Демидов и сын его Гринька жили молча, изредка переговариваясь только о самом необходимом.

Но однажды вечером, лежа в кровати, Гринька вдруг спросил из темноты:

– Ты говоришь – он поскользнулся и упал в лунку, дядя Денис... А зачем он лунку такую большую сделал?

– Ну, зачем? Узкая лунка скоро замерзает, приходится время от времени ее раздалбливать. А широкой на всю рыбалку хватит.

Но чувствуя, что объяснение его может не убедить Гриньку, стал говорить дальше:

– А потом, бывает, возьмет окунище шире лопаты. Как вытащить? Пока раздалбливаешь лунку пошире, окунь и сойдет. А Денис – он жадный был на рыбу. Вот и раздолбил сразу на всякий случай...

Павел и еще что-то говорил сыну такое же неубедительное, упорно пытаясь уверить сына, что две недели назад произошел на льду обыкновенный несчастный случай.

– А ты его жалеешь, пап? – спросил Гринька, прервав объяснения отца.

– Нет, сынок, – помедлив, сказал Демидов. – Он был широко подлым человеком.

– Что ж, тогда я прав был: добрых людей земля любит, а

нехороших и сама наказать умеет.

– Спи, сынок. Что ж теперь об этом думать? Уроки все выучил на завтра?

– Все.

– Ну и спи.

Но Гринька еще долго ворочался, вздыхал, как взрослый. И, засыпая наконец, произнес:

– А страшно, должно быть, подлым людям один на один с землей оставаться? А, пап?

– Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок.

– Это – как?

– Никак! Спи, якорь тебя! – рассердился Павел, но скорее сам на себя, за свои последние слова.

Гринька еще не понимал, а Демидов и не хотел, чтобы он так рано понял, что на древней земле под древней луной произошла одна из вековых драм человеческих...

1970

Вражда

В високосный день 1944 года, 29 февраля, во вторник, старший из шести оборванцев Катьки Афанасьевой – Мишуха, застрелил из берданки председателя романовского колхоза Артемия Пилюгина, давно вернувшегося с фронта по ранению, орденоносца. Мишуха подошел к дому председателя, когда стемнело, ткнул дулом берданки в стылую, красноватую от горящей в избе лампы нижнюю шибку. Обмерзлое стекло негромко лопнуло, просыпалось тяжелыми осколками вниз. «Эт-то кой там черт?!» – свирепо прохрипел Пилюгин, повернув голову от стола, за которым ужинал со своей семьей. В два прыжка он подскочил к окошку, наклонился к разбитой шибке, чтобы высмотреть побойщика, и тут Мишуха влепил ему прямо в лицо заряд. Железный обрубок, забитый в ствол, разнес полчерепа, грузный Пилюгин тычком рухнул на край скамейки, стоящей у стены, скамейка взвилась другим концом под потолок, с грохотом упала на крашеный пол. И только тут в ужасе заревели все враз – мать Артемия Пилюгина Федотья, жена его Лидия, дети – Пашка и девятилетняя Сонька...

Сбежавшиеся на выстрел люди отобрали у Мишухи берданку, а скручивать убийцу не было надобности. Мишухе шел всего четырнадцатый год, и он, сжавшись, как котенок, сидел на мерзлом снегу возле стены дома. Сын убитого Паш-

ка, подвывая, как щенок, пинал и пинал толстым валенком Мишуху, но тот пинков будто и не чувствовал, не защищался, он лишь тоскливо повизгивал и красными от холода кулаками растирал слезы на грязных щеках.

– Убью паразита-а! Раздавлю-у... Пустите! – безумно орала Федотья Пилюгина, разлохмаченная, страшная, с распухшими глазами, готовыми, казалось, вот-вот лопнуть от ярости, билась в руках удерживающих ее баб. Они отобрали у старухи тяжелый медный пестик, кое-как увели, затолкали в дом, где лежала бесчувственная Лидия.

– Ты што сотворил-то, проклятуший?! Што? – черной вороной висела над Мишухой дряхлая бабка Андрониха, тыкала в мальчишку костылем. – Ить человека ухайдакал. За судят теперь. В каторгу...

– Отойди, старая... Отступись ты, – отпихивал ее сам дед Андрон, тоже древний и костлявый, как его жена. – И другие отойдита от мальчика, тут власть должна...

Но никакой власти в Романовке теперь не было, и что делать, никто не знал. Кругом стоял бабий вой и плач. Романовка – деревня небольшая, всего в одну коротенькую улочку, а у пилюгинского дома было тесно, как на базаре. Бабы, старики и старухи метались возле окошка, за которым лежал мертвый Пилюгин, сбежавшиеся сюда деревенские детишки стояли кучками поодаль и, напуганные происшедшим, молчали.

Молодых мужиков, кроме председателя Пилюгина да хро-

моногого Петрована Макеева, колхозного кузнеца, в Романовке давно уж не было. На многих получены в разное время похоронки, на остальных каждую пятницу, когда из райцентра привозилась почта, ожидали. Робкая и зыбкая надежда, что муж или сын на этой проклятой войне покуда живой и до конца ее не сгинет, затаенно жила, конечно, в каждом женском сердце, щемило его тихой и постоянной болью, а рядом гнездилась боль другая, страшная и черная, – вдруг да Марунька-счетоводиха, раз в неделю ездившая в районную почту, привезет в эту пятницу зловещий казенный конверт? Ее возвращения со страхом ждали еще с утра, непрерывно поглядывали на увал, круто вздымавшийся за деревней. И когда там, на сбегавшей вниз дороге, показывались ее сани, а если летом – телега, изболевшееся сердце каждой бабенки совсем останавливалось...

Теперь в Романовке и вовсе остался один мужик, кузнец хороший, выручалник колхоза, да этим же до края избалованный, беспробудный пьянчужка. Каждое утро, прежде чем раздуть горн, он сильно опохмелялся, тусклые глаза его прояснялись, вялые руки обретали живость и крепость. Весь день он работал красиво и азартно, непрерывно вытирая со лба пот, заливавший глаза, а вечером снова накачивался самогонкой из свеклы до самого горла.

Сейчас Макеева возле дома убитого председателя не было, да о нем никто и не думал, никто не ждал его, зная, что он бесчувственным бревном лежит у себя в кузне. Петро-

ван Макеев ногу поморозил на финской, отчего она скрючилась, жена его, бабенка ветреная и бесплодная, с хромым жить не стала, завербовалась куда-то на Север и уехала, как все говорили, «за длинным рублем и новым мужиком». С того, как считали в Романовке, и начал Петрован пить. Летом он обычно ночевал в захиревшей без женской руки, совсем почти сгнившей своей избенке, зимой же натопить ее было невозможно, а приводить жилье в порядок кузнец ленился и с наступлением холодного времени жил безвылазно в кузне, там же и спал, пристроив лежанку к теплему до утра горну.

Но неожиданно для всех Макеев объявился. Как он подошел к пилюгинскому дому, никто в суматохе и в темноте не заметил, его увидели, когда он, прокопченный, черный как грач, нагнувшись, вошел в комнату. Ростом он был высок, голова его почти упиралась в потолок. И плечи, обтянутые прогорелым во многих местах полушубком, были широкими, в косую сажень. Из-под расстегнутого полушубка выглядывала рубаха, тоже расстегнутая, а из рубахи волосатая грудь – бугристая, звериная какая-то, отчего Петрована все побаивались. Он был добрым, этот кузнец-пьянчужка, безотказно ковал любому, кто обращался, лопаты и тяпки, ножи и сечки, крючки и задвижки, всякие скобы и гвозди – да мало ли какая мелочь требовалась в хозяйстве. Деньгами не брал – что на них купишь в такое-то время, – раз и навсегда положил, чтоб за работу ему носили самогонку или кой-чего из съестного. Но размер платы никогда не определял: что

дадут, то и ладно. Обращались к нему все и постоянно, даже из соседних деревень каждый день наезжали, жил он безбедно, запас самогонки никогда не истощался. Но, расплатившись за работу, торопливо поблагодарив, люди тотчас спешили уйти: уж больно молчалив и угрюм был кузнец. А он смотрел каждому вслед неприязненно, темные глаза его разгорались, как угли в горне, но тут же тухли, он усмехался в клочковатую, забитую копотью и железной окалиной бородку и принимался за свою нескончаемую работу.

Войдя в комнату и оглядев сразу смолкнувших баб – лишь жена Пилюгина, свернувшись крючком на голбчике, тяжело и глухо рыдала, – он усмехнулся по-своему и шагнул к убитому. Тот как упал ничком, так и лежал, возле головы растеклось по полу кровавое пятно. Макеев постоял над ним и вразряжку уронил два слова:

– Поворо-от! Та-ак...

– Что так?! – сорвалась с кровати Федотья Пилюгина, оттолкнув какую-то бабу, совавшую ей стакан с водой. Стакан баба уронила, он разбился, многие поглядели на осколки с испуганной жалостью, потому что магазинная посуда была редкостью. – Что так, бирюк вонючий?! Как теперь жить? Жить как? Передушить за это всех щенков афанасьевских! Катьку-суку – всех наперед! Развела свой змеиный выводок...

Петрован Макеев не обратил никакого внимания на ее крик, на ее оскорбительные слова, будто не слышал и не ви-

дел Пилюгину. Он молча повернулся и шагнул за порог.

На улице он подошел к Мишухе. Возле него крутился один дед Андрон, отгоняя озверелого Пашку. Сынишка убитого Пилюгина был одногодок Мишухе, он выскакивал из толпы женщин, пинал Мишуху, который все так же прижимался к стене, и снова нырял в толпу.

– Хорек! Ну прямо хорек. Да што теперь-то... – хрипел изнемогающий дед. – Бабы, да уймите его! Сонька, уведи своего брата!

Однако женщины стояли у дома, странным образом молчаливые и безучастные. А девятилетняя Сонька, зажавшись у крыльца, испуганно и беззвучно плакала.

– Все одно убью его... до смерти! – сквозь слезы орал Пашка. – Вот счас за шкворнем сбегая...

Пашка в самом деле побежал куда-то, да наткнулся на кузнеца. Макеев тяжелой рукой схватил мальчишку за ворот, встряхнул:

– Умолкни. Шкворень тебе... – И толкнул прочь.

Кузнец с минуту стоял молча, удивленно и как-то виновато глядел на Мишуху, наклонял голову то на один, то на другой бок, будто пытался разглядеть этого сопливого убийцу получше.

Потом Макеев усмехнулся невеселой, сожалеющей усмешкой и проговорил:

– А я хотел в молотобойцы его взять. Ишо подрастет, думаю, да и возьму. Одному-то несподручно.

– Да куда уж теперь, – хилой от старости рукой махнул дед Андрон.

Мороз целый день жег остервенело, аж плевки замерзали на лету, но к вечеру с увала потек вниз едва уловимый полынный запах – верный признак, что наступит потепление. Увал этот обегал Романовку с трех сторон, на крутых и каменистых его склонах почти ничего, кроме полыни, не росло, ветер постоянно сдувал с него снег, обрушивал на деревушку. Летом в холодные дни и зимой в оттепель струился с его склонов вниз этот приятный и освежающий несильный полынный запах, будоража колхозных жеребцов.

– А Катерина-то знает? – снова подал голос Макеев.

– Да как, поди... – откликнулся дед Андрон. – Да она ж пластом лежит какой день. Как Доньку схоронила...

Еще помолчал угрюмый кузнец, затем поцарапал ожелезневшими ногтями в клочьях волос на подбородке и с горечью произнес:

– А ведь оно, раз убийство... Милиция тут теперь... Ах ты страмец такой! Что ж, пойду к Катерине я, что ли...

Но в это время под темным небом, где давно уже горели холодные звезды, раздался смертельный вскрик Кати Афанасьевой:

– Ми-иша-а?!

Вскрик этот заколотился, казалось, об высокие стены увала, не находя места, чтобы вырваться и пропасть в черных заснеженных полях, он еще не затих, как подбежала к толпе са-

ма Катя Афанасьева, в кособокой залатанной юбке и старом пиджачишке, простоволосая, страшная в своем безумии.

– Миша-а! – еще раз простонала она, рухнула перед ним плашмя и, обнимая его колени, вся задергалась, забилась в тяжких рыданиях на утоптанном, заледевшем снегу: – Ты что наделал-то?! Наделал что...

– Катя, Кать... Пушай ему... – разжал губы парнишка. И, глотая слезы, добавил: – Ты не плачь. Пушай... Не плачь, Катя.

Слова эти будто успокоили ее, она стала затихать. Поскулив еще немного сквозь зубы, шевельнувшись, встала на колени.

– Простынешь же на снегу, Мишенька... Айда домой, там ребятишки натопили, – проговорила она, подняла с земли всхлипывающего Мишуху, разогнулась, грузно поворотилась к людям. Глаза ее блестели во мраке неживым блеском, растрепанные волосы делали этот мертвый огонь в ее глазах еще более жутким.

Постояв так несколько мгновений, шагнула к молчаливой толпе, люди раздвинулись, и она прошла сделавшимся проходом, увела Мишуху во мрак.

Когда они скрылись, дед Андрон вздохнул облегченно:

– Ну и слава тебе господи.

Но бабы и старухи, ошеломленные небывалым убийством, странности в его словах не заметили.

Так случилось, что с самого начала войны на руках у Кати Афанасьевой оказалось шестеро. Старшему из них, Мишухе, шел тогда одиннадцатый, остальные мал мала меньше – Захару шесть, Кольке пять, Игнатию три, Зойке с Донькой по два годика. А самой-то ей только-только исполнилось двадцать.

Мишуха, Николай и Зойка – ее братья и сестра. Остальные трое были детьми Степана Тихомилова, ушедшего на фронт сразу же по объявлению первой мобилизации, в июне сорок первого.

Недели три назад заболела вдруг Донька, взялась вся огнем, в беспамятстве заметалась на рваной и тощей подстилке. Даже под больного ребенка постелить чего помягче, кроме облезлого, никуда уже не годного полушубка, не нашлось – за страшные военные годы все было продано и прожито с этой плачущей, ползающей и бегающей по избе оравой, вечно просящей есть, есть, есть. Нынешней осенью, едва посыпалась на окостеневшую землю снежная крупка, пришлось свести в райцентр, на базар, и единственную корову, потому что зиму кормить ее было нечем. Артемий Пилюгин, ставший с весны 1942 года председателем в Романовке, сена накосить не дал. Сперва все отмахивался – успеешь, мол, вон сколько еще лета, надо сперва колхозным коровенкам нако-

силь. Потом стала осыпаться рожь, подошла пшеница, взбесившийся председатель с утра всех поголовно выгонял с литовками и серпами на поля. Мишка в поле с теткой Василихой работал на лобогрейке, подросший за два военных года Захарка – возчиком хлеба на заготпункт. Дома за старшего оставался Колька, варил пустое варево из картошки, свекольной ботвы, из недозревших капустных листьев, утирал мокрые носы Доньке с Зойкой, следил за хулиганистым Игнатием...

Когда дырявым стал красный огонь на осинах, Катя словно очнулась от вязкого дурмана, стоящего в голове, с ужасом подумала, что ведь корова останется без корма. И однажды до свету растолкала Михаила, сунула ему в руки литовку, себе взяла другую – подлиннее и потяжелее. И вместо колхозного поля побежали они по холодной, уже осенней, росе за речку.

– Покосим, Миш, до солнышка... Без коровки-то мы как?

– Да что ж, Кать... Без молока детям никак.

Себя Михаил ребенком давно не считал, расставив по-мужицки ноги, принялся махать косой.

Увлечшись, они ровно и не заметили, как взошло солнце, все молча косили и косили.

– Ой, Миша! – воскликнула Катя, откинула смокшую прядь с распаленного лица. – Солнце-то?! Пилюгин съест.

Мишка молча глянул на небо, подошел к обкошенным кустам, сунул литовку под рядок жесткой, давным-давно пере-

стоявшейся травы, проговорил:

– И ты положишь тут. Чего их с собой переть? Завтра опять придем покосим.

– Придем, Миш. Надо ведь.

Мишуха устало опустился на кочку, вынул кисет, свернул самокрутку, застукал обломком плоского напильника об острый камень, прижав к нему ватный жгут толщиной в палец, обожженный на конце. Кремень был хороший, стальной обломок высекал целые снопы искр, фитиль задымился. Михаил раздул его, прикурил, осторожно, чтобы не уничтожить нагар на фитиле, сунул ватный жгут в гильзу от отцовской берданки, вместе с кремнем положил в кисет.

Он считал себя взрослым и курил, как взрослый, молчаливо и не торопясь, сосредоточенно глядел куда-то в одно место, о чем-то устало думая. Потом стал глядеть на сестру. Подняв голые локти и чуть откинув назад голову на крутой шее, та зачесывала назад гребенкой густые волосы.

– А ты красивая у нас, Кать, – сказал неожиданно Михаил.

– Вот... ты, – отмахнулась Катя. – Определил... Отец-то с войны вернется – не одобрит за табак.

Курить Михаил начал еще прошлым летом, Катя тотчас услышала запах, сказала: «Не надо бы, Мишка, курить-то куда». – «Не надо, – согласно проговорил он баском. – Да наломаешь хребет, задымишь – и будто полегче». И не сами слова, а голос меньшого братишки, раньше времени загрубевший от непосильной работы, разволновал тогда Катю,

в глазах у нее, за длинными усталыми ресницами, блеснула влага, она сказала: «Не таись тогда... Подпалишь еще чего».

– Да не одобрит уж, – сказал сейчас Мишуха на слова сестры и вздохнул. – Не пишет он че-то уже месяц.

– Скоро будет письмо, Миш... А от Тихомилова Степана вчераш пришло.

– Ну?

– Ничего... Спасибо, грит, за детишек вам с Михаилом.

– Врешь! – взвился Мишуха. – Что это ему про меня бы?

– А на, читай...

Как началась война, Михаил год еще, покуда дома был отец, походил в школу, а после четвертого класса больше уж не учился, не до учебы стало. И Степан Тихомилов, отец Захара, Игнатия и Доньки, писал торопливо, видно, не очень разборчиво, потому Михаил морщил от напряжения лоб, шевелил заветренными губами. Вдруг губы его дрогнули, он засопел, отвернулся от сестры. Потом снова стал читать, шевеля губами, перевернул листок.

– Ну, тут... Миша, про тебя боле ничего нет, – торопливо сказала Катя и взяла письмо. Она прятала от брата глаза, стояла чуть смущенная.

Так прошло какое-то время, с полминуты может, затем Михаил негромко проговорил, оглядев покос:

– С полвозика набили, кажись.

– Должно, будет, – согласилась она, подняла с земли старый отцовский пиджак, надела его. Пиджак был велик, она

потуже обернула полы вокруг худенького тела, подпоясалась обрывками сыромятного ремешка. И в этот момент из-за лохматых кустов выкатились бесшумно дрожки Пилюгина.

– Тэ-эк-с, косцы-молодцы! – усмешливо протянул он, подъехав. Коротенькие рыжие усы его покачались и криво застыли. – Кто это велел вам... тут? Люди уж давно на работе, а вы...

– Артемий Сасоныч... – умоляюще проговорила Катя.

– За самовольство, Катерина, ответишь! Без понятия, что ли?! У нас хлеб гибнет, а вы...

– Мы до солнышка только... Мы – сейчас.

– До солнышка... – И усы председателя опять закачались коромыслом. – Прижгут вот если тебе? За самовол?

– У меня же их шестеро, Артемий Сасоныч, – взмолилась Катя, кивнув на Мишуху.

Она стояла перед ним беспомощная и жалкая в этом проношенном до дыр отцовском пиджаке, в залатанной юбке, мокрой до колен от утренней росы. Пилюгин глядел на этот ее мокрый подол, все шевелил и шевелил желтыми усами, а на широких крыльях его носа проступили отчего-то капельки пота.

– Шестеро... – буркнул он, покачивая тяжелыми плечами, двинулся мимо нее к Михаилу, оставляя на кошенине большие вмятины следов, нагнувшись, выдернул из-под травы обе литовки, понес их к своему ходу, снова оставляя за собой кривую линию от сапог.

Михаил какое-то время с ненавистью глядел на его качающийся огрузлый зад, потом сорвался с места, заскочил ему путь.

– Не трожь литовки-то! Дай сюда...

– А по сопатке вот дам! – хриплодохнул Пилюгин. В одной руке он нес обе литовки, другую в самом деле поднял будто для удара, но не ударил, легко отстранил со своего пути мальчишку. – Тут колхозный покос, а вы...

– Какой тебе колхозный! – крикнул Мишуха. – В кочках-то... Мы тут прошлый год косили. И каждый год мы тут...

– погоди, Миша, – попросила Катя, тронув братишку за плечо, пошла за председателем. – Как же без сена-то мы, Артемий Сасоныч? Коровенку чем зимой кормить?

– Чем... – Пилюгин бросил литовки на свои дрожки, грузно повернулся. Доставая кисет и не глядя на девушку, скривил усы. – Найдем, может, чем. Я те говорил...

– Артемий! – взметнулся умоляющий голос Кати, прервался... Она обернулась к братишке, но словно больно напнулась на что-то глазами, опустила голову. – Миш, ты ступай... Я сейчас... А ты покуда ребятишек там покорми чем.

Мишуха, растерянный и пришибленный, стоял неподвижно.

– Чего стоишь?! – вдруг с ненавистью прокричала ему в лицо сестра. – Сказано тебе – отправляйся!

– Не ори, – бросил ей Михаил, повернулся, медленно по-

брел.

Он был не большой, Мишуха, но, по-деревенскому если считать, и не маленький. И сразу понял, к чему завернул разговор. Он давно знал, чего хочет от его сестры этот Пилюгин, потому что не раз слышал, о чем судачат по деревне. Бабы сплетни не запретишь, умолкнуть женщин не заставишь, ему было по-мальчишески больно за сестру свою, а жалел он ее уже по-мужицки, потому что был уверен – Катя чистая, как родничок, молотят все зря, никогда она себе такого не позволит.

Пройдя заросли чахлой ветлы и осинника, Мишуха завернул за них, в деревню не пошел, а присел тут на землю и стал слушать, о чем они там говорят. Сквозь заросли голоса донесились глуховато, неотчетливо.

– Я тебе сказала, Артемий... Никогда, никогда этого не будет, – говорила, всхлипывая, Катя.

– И дура, – отвечал Пилюгин. – В деревне-то все равно считают... Тебе ж не убудет и не прибудет.

– Да неуж тебе мало других-то, Артемий?! – взмолилась Катя. – По всем деревням одни бабы.

– А я хочу Степке Тихомилову одни объедки оставить, – донесся насмешливый голос.

– Не оставишь! – воскликнула сестра.

«То-то, боров усатый, – с гордостью за сестру подумал Михаил, – а то – объедки...» Он представил, как при последнем слове сестры скривилось сытое лицо Пилюгина, как

встали его усы поперек тонких губ. Но в следующий миг он забыл об его усах, потому что в мозг пробилось что-то другое: «Тихомилову одни объедки?! А что ж могло у Катьки быть с Тихомиловым? Жена у него, правда, перед войной померла, угорела в своем доме до смерти, до ухода на фронт один он жил, да ведь детный и на десять лет старше Катьки...»

– Значит, любовь у вас со Степкой Тихомиловым была? – донесся из-за кустов голос Пилюгина.

– А не твое дело, – ответила Катя.

– Ну, как хошь, Катерина Даниловна... И чтоб счас же у меня обои в поле были. А кошенину вашу я скажу, чтоб в колхоз забрали.

«Вот гад, вот гад!» – заколотилось все в Мишухе, он вскочил, собираясь кинуться к Пилюгину, но тут же что-то в нем случилось, из глаз хлынули от обиды и бессилия слезы, он вытер их кулаком и побежал в деревню.

Катя пришла почти следом – Михаил не успел детей за стол посадить, – глаза у нее были красные, заплаканные.

– Подслушивал, паразит такой! – с ходу налетела она на Михаила. – Я тебя видела...

– Не кричи давай, – огрызнулся он, тоже сердитый от всего, что произошло за утро. – Сорвалась ровно...

И словно эти слова младшего брата были самыми большими из всех, что она сегодня слышала. Попятившись, она села на прикрытую ряднинкой деревянную кровать, всегда

доброе и светлое лицо ее перекосилось ненавистью.

– Паразит ты такой! – повторила она с криком. – И все вы паразиты, паразиты! Навалились на меня...

Она упала лицом в подушку, завывала, затряслась, закричала, мотая головой:

– Сдохнуть лучше, сдохнуть, сдохнуть!

Заверещала от испуга пятилетняя теперь Зойка, захныкал Игнатий, бывший старше ее годом. Донька, всегда самая из всех спокойная и рассудительная, сползла со скамейки, побежала к кровати.

– Мам Катя, мам Катя, – затеребила она ее за подол. – Не плачь, не плачь...

– Катя, слышь, – сказал виновато и Мишуха, подошел к кровати. – Дождемся тятку вот... И дядя Тихомилов с войны придет...

Катя потихоньку перестала трястись, лишь долго еще всхлипывала, а Донька все повторяла: «Мам Катя... Ну, мам Катя...» Они все, дети Тихомилова Степана – и Донька, и Игнатий, и Захар, – звали ее мамой Катей.

Потом она тяжело пошевелилась, села на кровати, вытерла ладонью слезы, поставила между колен Доньку, мокрой от слез рукой стала гладить ее мягкие белые волосы.

– Простите меня, детки. Славные вы, сердешные...

...Все это было прошлогодней осенью, когда обильно сыпались уже листья. Сена Пилюгин так и не дал накосить, корову продали, и, как заболела Донька, Катя Христа ради

выпрашивала молочка у тетки Василихи, чья корова отелилась в деревне первой. Василиха была бабой нелюдимою и угрюмой, сама она кормила троих, муж ее, Васильев Василий Васильевич, с первых дней войны был на фронте, молока она давала без всякой платы, потому что платить Кате было нечем. Но полыхавшая огнем Донька почти его не пила – так, если глотнет когда глоточек – и таяла прямо на глазах.

– К дохтуру надо, в район. Ты что ж, девка? – сказал дед Андрон, заглянувший однажды вечером.

– Да как? Я уж трижды кланялась председателю, а он лошадь не дает.

– Это почто?

– А спроси... Пешком бы понесла ее, да ведь поморожу. Морозы-то вон!

Морозы действительно завернули к середине февраля ошалелые, лопались толстые тополя, кой-где растущие вдоль улицы.

На другое утро сам дед Андрон, встретив председателя на кошаре, сказал ему:

– Ты что же коня-то Афанасьевой Катерине не выделишь? Помереть может у нее девчушка. В больницу-то...

– У всех у нас дети болеют, – ответил Пилюгин. – Простывают, стервецы. Я своих малиной всегда пою. И без всякой больницы...

– Так и она поит. Да тут к дохтуру надо.

– А пусть лучше попросит, – ухмыльнулся Пилюгин.

Дед стоял и молча глядел на председателя, будто еще ждал каких слов. И тот сказал: – Чего уж так она убивается? Кабы их, Афанасьевых, дите бы еще...

– Во-он что...

– Что? – пошевелил усами Пилюгин.

– А то, Артемушка... Родитель твой, Сасоний, свое на-шел... И ты, гляди, не найди.

– Т-ты!!! Стручок засохший! – взорвался порохом Артемий Пилюгин и, глотнув морозного воздуха, побагровел, будто глотку ему враз заткнуло и он никак не мог этот воздух выпустить обратно, почернел даже. – Борода высыпалась, а тож... встреваешь!

И пошел, пошел, почти побежал прочь от кошары.

На третий день после этого Донька стала хрипеть и задышаться. Возле нее метались круглыми сутками сама Катя, бабка Андрониха, Михаил, вливали ей из ложечки в рот отвары из трав и ягод, какими испокон веков пользовали в деревне детей, пробовали обкладывать ее теплым, распаренным березовым листом. Но ничто не помогало: девчонке становилось хуже, изо рта ее пошел тяжелый запах.

– Нутро у нее гниет. Простудилась, это-то верно определил председатель, – мрачно сказал дед Андрон, впервые раскрыв рот после стычки с Пилюгиным.

Многими часами Донька лежала в забытии, как неживая уже, только с бледного лобика ее катился пот. И как-то, ненадолго придя в себя, она спросила:

– Я умру, мам Катя?

– Что ты, Донюшка?! Выздоровеешь!

Девочка долго смотрела куда-то мимо Кати в одну точку, потом, как несильный ветерок, прошелестел ее вздох:

– Ведь мы все тебе помогаем, мам Катя. А если я помру... тогда тебе вовсе трудно будет.

Что-то вспухло внутри у Кати и лопнуло, разворотив грудь, заложив горло. Из глаз ее хлынули соленые слезы, она вскочила, стала обматывать голову шаленкой.

– Коленька, Захар... Глядите все за Донькой, я счас...

Выскочила из дому и побежала в контору к председателю.

Но Пилюгина там не было, в холодном помещении сидела одна Мария-счетоводиха, которую все звали Марунькой, она сказала, что председатель ушел на скотный двор, там корова какая-то растелиться не может.

Но на скотном дворе она нашла лишь Мишуху да старого Андрона. Распаленные – Мишка был без кожуха, – они выкидывали в стенной проем навоз из помещения.

– Не видели Пилюгина? – крикнула Катя.

– В кузню пошел, – ответил Михаил.

– Донька-то умирает, счас в больницу повезу... – прокричала Катя и побежала в кузню, которая стояла неподалеку под самым увалом, а Мишуха и дед вышли за ворота, на мороз, глядели вслед ей, пока она не скрылась в кузне.

...Через полчаса Катя, красная и мокрая, будто из бани, подлетела к дому на председательской кошевке, переступила

свой порог. Глотая слезы, прохрипела:

— В больницу, Донюшка!

Она замотала больного ребенка во что только было можно, положила Доньку в кошевку, доверху заполненную мягким сеном, сама стала рядом с ней на колени и хлестнула лошадь.

Шерстяная шаленка на Катиной голове еле держалась, концы болтались, но Катя этого не замечала будто. Она лишь увидела, что к дому, когда лошадь тронулась, подбежал Мишуха, крикнула ему на ходу, издали уже:

— Обихаживай детей-то...

Вернулась она через пять дней с мертвой Донькой, черная, как уголь в кузне Петрована Макеева, бесчувственная и ровно немая.

Когда Михаил с дедом Андроном выдолбили небольшую, в метр длиной всего могилку и спустили туда гробик с Донькой, Катя выдавила из себя первые по возвращении из больницы слова:

— Доктора-то сказали — кабы на три-четыре дня раньше ее, мол... Прокля-атый!

С этим возгласом она упала на маленький могильный холмик из земляной гальки вперемешку со снегом, ее еле-еле оторвали от него, увели под руки домой, уложили на кровать, с которой она не вставала до самого рокового Мишухиногo выстрела.

Только на другой день к обеду из района приехали двое милиционеров и очкастая тощая женщина из прокуратуры. Остаток дня толклись в Романовке, вели расспросы, составляли какие-то бумаги, давали на подпись. Бабы и старики подписывались молча, и Катя за что-то расписалась, не читая, лишь дед Андрон ставить свою подпись категорически отказался, ошеломив очкастую женщину из района словами:

– Ну убил и убил... И слава, значит, богу.

Вчера жители Романовки на такие же примерно слова Андрона не обратили внимания и сегодня будто их не расслышали, а очкастая, вскинув острый горбатый нос, изумленно спросила:

– Выходит, вы одобряете преступление?

– Я грю ему, Пилюгину, – он свое сыщет... Как в воду глядел, значит.

И больше от него ничего не добились.

Все трое приезжих уехали вечером, как стемнело, увезли с собой Михаила.

В сани он сел молча. Но перед тем как один из милиционеров хотел их тронуть, соскочил на землю, подбежал к Кате, бесчувственно стоящей у дверей дома и, роняя с головы шапку, ткнулся ей в грудь, заплакал по-детски горько и обиженно. Он плакал, а она молча гладила его по лохматой, дав-

но не стриженной голове.

Поплакав, он оторвался от сестры, вытер слезы сперва одним кулаком, потом другим. И сказал:

– Ты, Кать, не убивайся. Не убивайся, ладно?

Она без слов кивнула.

Он поднял шапку, надел ее, снова сел в сани.

Мишуху увезли, и в доме Кати Афанасьевой застыла мертвая тишина. Все детишки прятались, как мыши, по разным углам, сама Катя сидела, расставив по-бабьи ноги, на деревянной кровати, застеленной ряднинкой, смотрела перед собой, не видя суетящегося возле печи деда Андрона.

– Старушонка моя печку вам прийтить истопить хотела, да в поясицу ей прострел ударил, – объяснял он зачем-то. – Этот... радикулит, по-докторскому, схватил, лежит крючком. Ну да мы сейчас сами...

Растопив печь, Андрон разогнулся, оглядел сиротское семейство Кати Афанасьевой, почесал в тощей спутанной бороденке. И сказал:

– Давайте так порешим, суслятки... Жить все едино придется. Бог – он родит и жить велит. Таково мученье, хошь не хошь... Уразумели?

Не поняв этой речи деда Андрона, дети по-прежнему молчали, никто не откликнулся, и старик рассердился, будто перед ним были взрослые:

– Эк, якорь вас! Ну да ладно, жизнюха каждого по уму добьет. Где у вас вода-то? И картохи, что ли? Жрать-то небось

хотите?

Воды в доме не было, Андрон погнал Николая с ведрами на речку. Захару велел достать из подпола картошки.

– Да берегись, возле пролубки склизко, – предупредил он Кольку.

– Маленький, че ли, – буркнул тот, уходя.

Захар достал из подпола небольшую миску картошки.

– На всех вас мало, поди, будет, – покачал головой Андрон.

– Мы всегда по столь варим, – сказал Захар, круглолицый, конопатый, с рыжими волосами в кольцах. – По два раза в день. Мам Кать всю картошку перемерила и больше в день не велит. А то не хватит до новой, говорит.

– А-а, ну да... Это так, – глухо сказал дед, покашливая. – Ты старший теперь тут, ты и следи за всем. И за нормой, значит. Понимаешь?

– Что ж не понять... Не растянем до новой-то, тогда что? – рассудительно ответил девятилетний Захар. – Что же теперь, Мишуху засудят?

– Дак куда деться-то, Захарушка?.. – кивнул старик. – Жизнь – круг, а в круге – суд. Послаще, как вам, ему придется.

Заревела при этих словах Зойка, самая младшая из всех, подбежала к сестре, уткнулась ей в колени. Катя, все глядя в одну точку, обняла горячеей рукой ее за костлявые плечики.

Дед Андрон сварил картошку, разделил меж детьми, две

картофелины оставил Кате, которая все сидела и сидела на кровати.

Загнав потом всех на теплую печку с приделанной по краю доской, чтобы спящие не вывалились (эту доску прибил еще сам Данила Афанасьев, их отец, уходя на фронт), он подошел к Кате, сел рядом с ней на кровать.

– Что наделал-то, паршивец, – сказал он тихонько.

Негромкие слова эти будто насквозь прожгли Катю, она вскочила, отбежала к печке и пронзительно закричала:

– Не-ет! Он правильно, правильно-о...

Лицо ее, доброе и красивое, было страшным, губы тряслись, в глазах дергался нехороший свет.

– Ну, зверица! – прикрикнул старик. – Еще кинься на меня давай. Разве я что говорю? Я про то, что правильно, знаю.

– Ты?! Он, Мишка... рассказал? – сразу обмякла Катя, в широко раскрытых ее глазах заплескался теперь ужас, губы побледнели. И они сами собой прошептали: – Он, кажись, приперся следом в кузню-то... Тогда я задавлюсь, задавлюсь!

– Дура, – спокойно проговорил дед, встал, пошел к двери, дернул с гвоздя свою баранью шапку. И еще сказал, как дружески посоветовал: – Давись, Катерина. Только сперва детишек-то всех ножом переколи. Все едино сдохнут!

Последние три слова он выкрикнул уже зло и едко, боком ударил в разбухшую дверь, которая с первого раза не поддавалась.

– В кузне он был, верно. Только ты знай, Катюха, – твою Мишуху режь, так слова не вытянешь. Я, грю, Пилюгина знаю...

Он выбил плечом дверь и ушел, плотно прикрыв ее за собой.

* * *

Дед Андрон нисколько не соврал – Михаил ни словом не обмолвился о том, что произошло в кузне меж Катей и Пилюгиным. Больше того, когда долбили могилку для Доньки, на совет Андрона: «Счас, Михаил, такое дело... Зачнут чего про сестру болтать – ты затыкай им глотки, ничего, мол, там меж них с Пилюгиным не было, при мне, дескать, все происходило», хрипло ответил:

– А что могло быть-то? Ничего и не было в сам деле.

– Так это ты знаешь да я, – сказал Андрон. – А у бабья язык без костей.

И больше они там ни о чем не говорили, работали молча. Когда отдыхали, Михаил, не чуя мороза, сидел на куче мерзлой земли, курил, пряча от старика воспаленные глаза, а тот, опершись на лом, уныло думал какую-то тяжкую думу.

Так же вот дед Андрон безмолвно стоял и в тот день, когда Катя Афанасьева искала Пилюгина, только опирался не на лом, а на вилы, стоял и глядел, как бежит Катя от скотного двора к кузнице, как ткнулась со всего бега в тяжелую

дверь из плах, скрылась внутри. А через минуту из кузницы вышел Петрован Макеев с какой-то сумкой в руке, захромал в сторону председательского дома...

– Гляди-ка, – встрепнулся Андрон. – За закуской ить послан, пьяный пес? Самогон-то в кузне завсегда в наличии. Ну, точно, гля, пимы у председателява дома оббивает...

Говорил старик тягуче, чем дальше, тем медленнее.

Помолчав потом, покрутив туда-сюда головой, старик промолвил неуверенно:

– А прошел бы и ты, Мишуха, туда...

Михаил и сам давно уже растерянно и беспомощно глядел на кузню, при этих словах он сорвался с места, нырнул сперва в коровник, схватил заскорузлый кожушок, побежал к кузнице, натягивая его на ходу.

Тяжелая, залоснившаяся от грязи дверь кузницы открылась без скрипа. Михаил протиснулся в щель.

Кузня была перегорожена бревенчатой стеной надвое, в первой, меньшей половине с крохотным оконцем ждали своей очереди на починку бороны, лемеха, мелкие части всяких машин – сенокосилок, конных грабель, лобогреек. Петрован Макеев хранил их здесь от ржави. Тут же валялся всякий хлам – старые колесные шины, обрезки железа, разбитая наковальня, перепутанные комья проволоки...

В горновую половину отсюда вела еще одна дверь, потоньше, но тоже крепкая, обитая снаружи грязным войлоком, она была приоткрыта, оттуда пробивался жидкий свет (в горно-

вой было два оконца) и тек теплый поток.

Михаил не раз и не два бывал в кузне, он знал, где что лежит и валяется, ни за что не запнувшись, он подскочил в полутьме к этой внутренней двери, хотел ее отмахнуть, но замер, услышав голос сестры: «Вошь ты... совсем заел. Кофту-то не рви, последняя...» – «А-а, вошь?! – прохрипел в ответ Пилюгин. – Д-дам я тебе коня... В свою кошевку запрягу. И пшеницы дам... И мяса. Всего дам, не жалко. А ты за все платить будешь, как сейчас... Не царапайся, отцарапалась!»

Мишуха был не маленький, он, слыша возню и голоса, понимал, что там происходит. Но он был все же мальчишка, и происходящее в горновой части кузницы раздавило его, что-то едкое застелило разум, не стало давать дышать. Он стоял возле двери, прислонившись, чтоб не упасть, спиной к бревенчатой стене, потом все же ноги подломились, он стал медленно оседать вниз, задевая острыми лопатками за бревна.

Сколько он сидел на земляном полу, Михаил не знал. И где сидел – не понимал, разум его потух.

Потом сквозь звон в голове пробилось тяжкое всхлипывание, и Мишуха понял – это плачет Катя. «Ну и плачь, плачь, стерва такая! – с ненавистью и омерзением подумал он о сестре. – Потаскуха... И я сейчас зайду и плюну тебе в морду». Но он никуда не пошел, не пошевелился даже с места, потому что другим краем сознания понимал – Катька все-таки не виновата, это один Пилюгин виноват, он своими сапожищами втоптал в грязь его сестру и опозорил навеки. И еще

не двинулся с места потому, что Пилюгин заговорил: «Твой отец батьку-то моего сгубил. Знаешь, поди?» Пилюгин говорил это, и в голосе его было странное, непонятное для Мишухи торжество. «Отец со Степаном приедут и с тобой считаются», – ответила Катя сквозь слезы. «Ну, это еще погудить надо, – хохотнул Пилюгин. – Война – не мать родная... А покудова я всласть помну твои титьки. За все над тобой натешусь... Да не плачь ты, дура. Эка беда – из девки бабой стала. – Он еще раз уронил козлийный смешок. – Лидка моя давно уж считает, что я живу с тобой. Теперь хоть не зря, значит...» – «Коня-то... давай, – прохрипела Катя, – Донька помирает...» – «Айда на конюшню. Сам тебе запрягу».

В горновой части кузницы послышались шаги, дверь, возле которой сидел Мишуха, отмахнулась, загородив его. Из горновой сперва вышла согнутая крючком Катя, двинулась, как слепая, к выходу из кузни, за ней, покачивая широкими плечами, прошел Пилюгин. Не оборачиваясь, он захлопнул за собой дверь, так и не заметив Мишуху.

Скрип их шагов по снегу давно затих, а Михаил все сидел и сидел на прежнем месте, онемевший. Потом обозначился в дверях кузни Петрован Макеев с набитой сумкой и, увидев Михаила, спьяну даже не удивился ему, лишь протянул:

– А-а, ты... – Прошел в горновую, вернулся. – А они игде? За закуской, приказал, ступай. Лидии, грит, скажи – приказ от меня... Поворо-от!

Мишуха поднялся и молча пошел из кузни, пошатываясь,

будто хмельным был он, а не Петрован Макеев.

* * *

Род Пилюгиных был древний, жила молва, что прадед отца Артемия чуть ли не при царице Екатерине первым поселился здесь. Звали его Роман, оттого будто и речка, вытекающая из-за увала и за другой его конец затекающая, стала называться Романовкой, а по ней затем и деревня.

Земли тут были скудные, Сибирь, Сибирь, а ею и не пахло. За увалом опять лежали каменистые холмы, пахотная земля и сенокосы выбирались клочками, лесов не росло и в помине. Зато в холмах полно было ключей, вода из-под каменистых круч выбивалась светлая, как хрусталь, студеная, вкусная. Там, где ключи вытекали, и находилась пригодная для обработки или покосов земля – небольшие луговины, крохотные пашенки. Поля и луга по ключам так и назывались – Большой ключ, Волчий, Зеленый (на лугу, по которому он тек, было много берез, осинника, всяких кустов), Летний (зимой он почему-то иссякал).

Не все ключи впадали в речку, многие сочились в болотины или пропадали в песчаной почве. Потому речка Романовка была невеликой, мелкой, но с многочисленными омутами, в холодной глубине которых водились даже щуки.

Не щедрой была земля вокруг, да земля, из рода в род Пилюгины считали ее своей, новых поселенцев принимали с

разбором, только тех, кто признавал их здешнюю первородность, в которых усматривали будущую покорность. Таких на первых порах поддерживали, ссужали и хлебом и деньгами, пользовали своим тяглом и хлебоборобными орудиями. В ответ требовали не столь материальной благодарности, хотя, конечно, принимали ее без отказа, сколько безоговорочного признания все той же их первородности, их старшинства.

Самым удачливым из Пилюгиных был дед Артемия по имени Фортунат. Имя было древнее, он гордился им и всем объявлял, что не то по-гречески, не то по-латыни оно означает – успешливый, счастливый. Так оно было и на самом деле. Фортунат имел две лавки в волостном селе и маслобойню, вел какие-то дела с семипалатинскими киргизами, до чьих степей от волости была всего какая-то сотня верст или того меньше. А верстах в полутора от Романовки поставил большую мельницу, запрудив речку меж двух длинных отлогих холмов.

Случилось это последнее в 1900 году, когда его сыну Сасонию стукнуло уже двадцать лет, он и стал там главным мельником.

Сооружение мельницы было и радостью и горем всей округи. Радостью потому, что до этого даже из Романовки возили молоть хлеб в волость, за двадцать верст, а из других деревень, лежащих вниз по течению речки, путь был еще дальше. А горем по причине, что Фортунат наглухо запрудил Романовку меж тех холмов на целых два лета. По-

ка наполнялась длинная, больше двух верст, котловина, речка дальше течь перестала, русло высохло, шук из омутов, как оседала вода, повыбрали прямо руками, а всякая мелочь протухла в клейком иле.

Но рыба – черт с ней, в этих местах рыбалкой никто и не занимался, баловством это считалось, главное – в первое же лето от пропавшей речки стали сохнуть нижние луга. Они и без того были наперечет, а теперь укусы ополовинились, народ зароптал. Фортунат в первое лето отговорился просто малым урожаем трав, разве, мол, не бывало когда такого, речка-де здесь ни при чем. А на другое лето стало яснее ясного, что при чем, с самой весны уже луга червивились и желтели, трава скручивалась, сохла. Мала речка, а оказалось, что некому больше землю поить: и зимние снега, и летние дожди бессильны. Люди из нижних деревень потребовали срыть возведенную из земли и камней плотину, освободить речку. «Сбесились, что ли? – багровел от нелепых требований Фортунат. – Капиталу сколь вложено... Для вас же, дураков! Чтоб не ездили с зерном за полсотни верст киселя хлебать». Но дело заваривалось все круче, нижнереченские мужики решили силой срыть запруду. Да не тут-то было, почти вся деревня Романовка с кольями, а то и ружьями встала на ее охрану. Вот как дальновидно благодетельствовали Пилюгины новым романовским поселенцам.

В ту зиму мор скота был сильным, еще одно такое бы лето, и предприятию Фортуната Пилюгина не пережить, да к вес-

не огромная котловина налилась до меры, и по паводку вода потекла через плотину, падая вниз с пятисаженной высоты, покатила забытой дорогой, заполняя все омуты и ямы. На одном конце широкой, тройками легко разъехаться, плотины стояло высокое здание мельницы в два привода, два огромных крепких водяных колеса весело крутились – Фортунат в благодарность романовцам положил бесплатно перемолоть весь их хлеб последнего урожая.

А через неделю уже потянулись к мельнице обозы из соседних деревень и деревушек. Молодой Сасоний, парень крепкий, белозубый и холостой в ту пору, покрикивая на работников, весело принимал помольцев, кидал шуточки молодым бабам и девкам, шустро высчитывал гарнцевый сбор...

Фортунат – по-латыни обозначало «счастливый», а жизнь Сасония, как он сам считал, складывалась еще лучше. Отец там где-то мотался из Сибири в Казахстан, глотал степную пыль, торговался до хрипоты с киргизами, а он жил на приволье, без особых хлопот и забот, при желании мог погулять и покуражиться в Романовке, как и в любой другой деревне. Размах дел, а может, и развлечений не тот, что у отца, да ему хватало, – в конце концов, счастье каждый понимает по-своему, и что для одного неволя, для другого приволье.

Но сильных и долгих загулов Сасоний не любил, по какой причине и было ему полное доверие отца. Однако лет через несколько выпивка послужила причиной вынужденной

женитьбы. Стояла верстах в десяти от мельницы, на краю чахлого лесочка, большая деревня Березовка, с обширным постоянным двором и кабаком. То и другое принадлежало богатому мужику Ловыгину, была у него великовозрастная дочь Федотья, безгрудая, плоская как доска, угловатая – наколоться можно. И однажды, погуляв с вечера в кабаке Ловыгина, Сасоний по позднему времени домой не поехал, лег спать на постоялом дворе, а на заре пробудился от того, что кто-то дергал его, жарким воздухом дышал в ухо. Сквозь похмелье Сасоний обнаружил, что балуется с ним дочь самого Ловыгина, хватает горячими губами его щеки. Девки Сасонию давным-давно не в диковину, на мельнице он перемял их немало, а тут чего ж...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.